



КОНСТИТУЦИЯ МЕТАРОССИИ

Вторая редакция

**асебня
2020**

УДК 7.011.3
ББК 85.7

Конституция Метароссии. – Асебия, 2020. – 172 с.

Мир слишком долго ждал, что что-то случится. Что люди наконец станут свободнее и сбросят с себя ярмо обезумевшей власти. Но застой оказался сильнее. Что можно сделать в этих условиях? Издательство «Асебия» публикует альтернативный проект — «Конституцию Метароссии»: мгновенное освобождение сознания россиян и их становление метарусскими. Конституция понимается здесь не как свод правил, а как пористое устройство (мета)территории, а сам текст — как путешествие по воздушным траекториям анархистского мышления. Пришла пора вообразить настоящие поправки к этому миру!

— ...Итак, Метароссия состоялась, она уже здесь. Как она состоялась — дело историков и любомудров: назовем это событие Великим Эллипсисом. Мы уже в ней, и теперь мы расскажем вам о том, как там располагаться.

— Это всё утопизм, романтизм, идеализм...

— Метаутопизм, метаромантизм, метаидеализм...

— Называйте как угодно. Я не вижу в окружающем мире никакой состоявшейся Метароссии. Я вижу безумие автократов, которые цепляются за власть и травливают людей друг с другом, похоть рыночников, которые мечтают делать деньги на наших вдохах и выдохах, усталость народа, который связан по рукам и ногам бессмысленным каждодневным трудом, наивность молодежи, которая протестует, но не хочет ничем жертвовать, лень и косность интеллигенции, которая испокон веку смотрит на Запад и не замечает того, что растет у нее под окнами...

— Всё это так. И вы готовы с этим мириться? Что вы сами предлагаете?

— Ох, я бы предложил, но антинародные законы сильно ограничивают меня в свободе высказывания...

— А не обязательно что-то предлагать или к чему-то призывать — можно просто описывать. В этом, между прочим, первое различие марксизма и анархизма как двух великих революционных учений: марксисты говорят лозунгами, а анархисты говорят так, как если бы всё уже случилось. А второе различие — марксисты говорят от имени какого-то меньшинства, а анархисты говорят от имени большинства, которое еще не осознало себя большинством.

— По поводу последнего, пожалуй, соглашусь с

анархистами. Это более эффективная революционная стратегия, чем разделять общество на миллион рас или полов, а затем возбуждать ненависть меньшинств к большинствам... И всё же мне непонятно: вот вы описали искомое состояние, и что дальше?

— Мы не ищем никакое состояние. Мы говорим, что всё уже есть. Пора строить, откладывать больше нельзя.

— Строить что?

— Метароссию.

— Из чего строить?

— Из всего. Нет ничего, что нельзя было бы пустить в дело. Включая находки и изобретения наших врагов!

— Но у вас же нет надежного фундамента для строительства! Чтобы строить, нужна теория, а у вас нет даже теории того, как Метароссия состоялась или могла бы состояться. Какой-то Великий Эллипсис придумали...

— Фигура Великого Эллипсиса помогает не заикливаться на том, что временно заблокировано, и перенаправляет внимание на то, что действительно важно и что в наших силах. Кроме того — ведь и у вас нет такой теории. Откуда вы тогда знаете, что Метароссия не состоялась?..

— Посмотрите вокруг — всё осталось на прежних местах. А вы только добавили к этому немного слов, сотрясли воздух.

— Вы уверены? Туда ли вы смотрите? И в каком вы сейчас настроении?

— Признаться, в депрессивном.

— Тогда вы точно смотрите не туда.

— А куда нужно смотреть?

— Никуда не нужно смотреть, начинайте строить.

— Сперва вы говорили, что можно просто описывать, а теперь говорите, что нужно строить. Так стро-

ить или описывать?

— В нашем случае это одно и то же. Под описанием вы, по-видимому, понимаете фиксацию наличного порядка, который всегда есть результат какого-то чужого строительства. А мы говорим, что нужно описывать то, что находится за рамками этого порядка, и такое описание само по себе уже есть строительство — как минимум новых слов и понятий.

— Ну да, а через энное количество лет окажется, что вы были просто фантазерами, которые поселились в своем воображаемом мире, а вокруг них всё осталось прежним. Это будет комично.

— А вы для себя какой судьбы хотите? Человека, который через это же энное количество лет посмеется над этими фантазерами? Кем вы вообще видите себя в будущем?

— Человеком, который реально что-то изменил в этом мире.

— И как вы собираетесь этого достичь?

— Есть тысяча способов. Мы выберем тот, который ближе нам по интересам, талантам и умениям.

— Замечательно, тогда за дело! Когда что-то понастоящему измените, напишите нам.

— Вы сомневаетесь в том, что это вообще возможно? Или вы сомневаетесь в нас?

— В вас я нисколько не сомневаюсь. И в мире постоянно происходят какие-то перемены, за которым кто-то или что-то стоит. Вопрос в том, почему вы отказываете в возможности реальных изменений нам.

— Вы не учитываете реальную обстановку...

— Мы ее как раз учитываем. Мы проводим диагностику смыслов, а именно смыслы образуют в конечном счете ту или иную обстановку — не обстоятельства. Из одних и тех же обстоятельств можно вывести разные смыслы обстановки.

— Вы не предпринимаете никаких реальных шагов к...

— Да потому что и так понятно, к чему всё движется!.. Мы без лишней суеты будем ждать в том месте, куда всё рано или поздно придет, — но ждать подготовленными. Мы придумаем имена и понятия для всего, что будет вокруг и внутри нас в тот момент, когда всё начнется, ну или закончится...

— Вы — это кто? Ведь вы рассеяны, не едины, вы строите каждый что-то свое... А если все понастроят своего, будет тысяча разных Метароссий, что ли?..

— Мы как раз заняты тем, что строим карты разных строек — метакарты. Эти карты показывают, как проложить маршрут от одной стройки к другой, как отобразить одну грёзу в другую, как согласовать внешне несогласуемое. Метароссия — это карта тысячи Метароссий.

— Короче, понятно: ваша Метароссия — это такое самоисполняющееся пророчество... Вы шаманите, занимаетесь социальной магией или попросту морочите людям голову. Я был прав, это очередная утопия, глупая и опасная.

— Мы не понимаем, что вы говорите. Самоисполняющееся пророчество, магия, утопия...

— Всё вы понимаете.

— Слушайте, вы же хотите что-то реально изменить. Зачем вы продолжаете дискутировать с нами?

— Хорошо, до свидания. Я обязательно напишу вам.

— Да-да, мы с нетерпением будем ждать. Кстати, ваше бикини имеет интересный оттенок пурпура — теплый, но еще не розовый.

— Что это значит?

— Вам идет. До встречи в Метароссии!

ПРЕАМБУЛА

Метароссия — коллективное образование, возникшее на обломках Дометароссии; метарусские — те, кто ассоциирует себя с Метароссией.

Дометароссия — государственно-капиталистическое образование, предшествовавшее Метароссии и какое-то время сосуществовавшее с ней.

Макророссия — бытующий в Метароссии миф о некоей «большой России»; Ортороссия — бытующий в Метароссии миф о некоей «правильной России».

Конституция понимается в этом тексте не как «основной закон», а как «строение» (как в выражении «конституция человека» или «конституционное сложение тела»), ибо никакого основного закона в Метароссии нет и быть не может.

В Метароссии вообще нет законов, нет системы права. Почему так сложилось, лучше всего может объяснить метарусский князь Кропоткин: «...все законы, говорим мы, имеют двоякое происхождение, и это именно отличает их от установившихся путем обычая привычек, которые представляют собой правила нравственности, существующие в данном обществе в данное время. Закон подтверждает эти обычаи, кристаллизует их, но в то же время пользуется ими, чтобы ввести, обыкновенно в скрытой, незаметной форме, какое-нибудь новое учреждение в интересах правящего меньшинства и военной касты. Например, закон, подтверждая разные полезные обычаи, вводит

или утверждает рабство, деление на классы, власть главы семьи, жреца или воина; он незаметно вводит крепостное право, а позднее — порабощение государством. Таким образом, на людей всегда умели наложить ярмо, так что они этого даже не замечали, — ярмо, от которого впоследствии они не могли освободиться иначе как путем кровавых революций. <...> И это будет продолжаться, пока одна часть общества будет издавать законы для всего общества, постоянно увеличивая этим власть государства, являющегося главной поддержкой капитализма. Это будет продолжаться, пока вообще будут издаваться законы» («Современная наука и анархия»).

Метароссия — это неконституционная анархомонархия.

Основные задачи Метароссии:

1. борьба с репрессиями воображения;
2. признание богатства правого воображения и его экспроприация;
3. сопротивление метазастью;
4. сопротивление контролю простора;
5. создание новых структур («третьего типа»);
6. создание контроллеров, основанных на анархии внимания;
7. отмена диктатуры лайка;
8. критика хромоидеологии;
9. пропаганда Пурпурного Просвещения;
10. изобретение вирофагов для вирусных государств;
11. развитие навыков безгосударственного чтения;

12. развитие навыков разобращения;
 13. развитие навыков смекалки;
 14. развитие метарусского языка;
 15. предоставление детям свободного доступа к капиталу;
 16. революция настроения.
- (Задачи актуальны только для второй редакции Конституции.)

Основная часть Конституции (во второй редакции) состоит из 57 именованных фрагментов, расположенных в псевдослучайном порядке.

Человек — существует. Время — ничтожит. Бог — любит. Россия — окружает. Метароссия — прорастает.

Метаизация

Профессионализм

Метабот

Контрреволюционное воображение

Сетевые Ритуалы

Растерянность

Метаэтика

Контроль пространства

Интерсубъективные формации

Политика

Метазастой Пористость

Метасимуляторы

Интенсивная география

Структуры пространства

Контроль времени

Рассеянность

Поломки Большие и Малые

Безгосударственное чтение

Разобращение

Структурализм «третьей волны»

Метаэтика риторики

Цифровое филологическое

Интерактивные

Этика интересного

Анархия внимания

Починки Большие и Малые

Анархомонархия

Ретрессивное воображение

Метарусское ускорение

Технотеология

Общественный контроль качества

Воображающие машины

Пурпурное просвещение

Хромоидеология

Капитализм памяти

Машины насилия

Системная москвофобия

Депрессивное сопротивление

Майдан знаний

Имперализм носителя

Фотоидеология

Технорелигиозный гештальт

Каскады деления

Хромоидеология

Негосударственная память

Хронолитеты

Обещания

Революция настроений

Негосударственное воображение

Государство-вирус

Стили воображения

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Соединение и разъединение

Сегодня все слишком друг с другом соединены. Из-за этого мысль часто останавливается на какой-то согласованной реальности: просто не приходит в голову, что можно пойти еще дальше. Из-за этого подмеченные в реальности противоречия сглаживаются мыслью, не достигают максимальной остроты — их удерживают в этой недозаостренности общественные узы. Или достигают максимальной остроты, но тогда сразу делят говорящих полярно, на два лагеря — в соответствии с заданными идиомами разъединения. Если дать мысли о противоречиях разрастись, какое либо общение станет невозможным: все слишком разные, и конечная цель общества — скрыть или смягчить эти различия.

Сегодня нужно разъединяться, а не соединяться. Но правильно разъединяться: не ради самого разъединения, — потому что только об этом и мечтают те, кто соединился, чтобы обманывать и обворовывать нас, — а ради новых соединений, которые невозможны при нынешней всеобщей соединенности, напоминающей состояние слипшихся разваренных пельменей. Нас всех соединили не так — не только средства коммуникации, но и города, общественные институты, государства, культуры, религии. Как если бы когда-то придумали некие идиомы соединения, которые затем были брошены на всех индивидов без разбору. Но лишь с малой вероятностью эти идиомы подойдут какому-то конкретному индивиду. Нужно перепродумать соединение так, чтобы оно было достойно конкретного индивида.

Нужно набраться смелости и сказать другому:

«Мне не нравится, как мы соединены. Может, это моя вина, может, твоя, а может, еще чья-то, или это вообще случайность — неважно. Давай разъединимся, чтобы перепродумать наше соединение или расстаться навсегда». Или ничего не говорить, когда и так всё понятно. Но ловушка нынешней ситуации состоит в том, что полностью разъединиться не получится: в цифровом мире всё течет, всё просачивается... Эту ловушку необходимо использовать — выбирать те способы соединения, которые допускают максимально возможное разъединение. В конце концов, где-то есть те дальние, мужчины или женщины, которые также разъединены и которые также, быть может, ищут оптимальное соединение. Для них наше минимальное соединение будет как-то полезным — пусть даже мимолетно, тактически, а не стратегически.

Вопрос о разъединении заново ставит вопрос о том, что такое социализация. То, что мы называем социумом или социализацией или ассоциацией, первично есть продукт эволюции религиозно-технической оснастки, то есть изобретения конкретных средств соединения. Первично соединяют — техника и религия. А не экономика: хозяйственные нужды в конечном счете разъединяют, они про то, как выжить одному или одной и зависимым от него или от нее индивидам — семье. Конкретные соединения ввиду этих хозяйственных нужд осуществляются по маршрутам, установленным именно техническими средствами: деньги как техника, торговый транспорт как техника, стационарные и переносимые хранилища запасов как техника... В связи с радикальными трансформациями в технике за последнюю сотню лет нам необходимо переизобрести социум и социализацию, которые всё еще слишком укоренены в старых средствах.

Однако разъединение не означает одиночество. Одиночество не совсем точное слово. Ни один человек не

остров, как известно. Человек — это всегда коллектив, но коллектив гибридный: если человек одинок физически, то в этот коллектив входят мертвые, которых он читал или читает, вспоминаемые и мысленно симулируемые друзья, которые не рядом, случайные прохожие, которые что-то бормочут себе под нос, клубящаяся в лучах солнца пыль, которая наталкивает его на какую-то мысль, наконец, сам этот человек, поскольку каждый день он, этот человек, разный. Человек-индивид — это суверенный анархонархический коллектив, равный одному и не равный одному.

Могут сказать, что общение способствует кросс-гибридизации идей, рождению новых синтезов, распространению материалов для синтеза и т. п. Но много общения не надо, чтобы узнать основные идеи, циркулирующие на рынке. Идей в каждой области вообще немного, несколько штук, и все они более-менее на виду. Общение обычно сводится к бесконечному перемалыванию этих нескольких идей. В том числе научное общение — взгляните на селевой поток академической прессы... Ньютон и Лейбниц были Ньютоном и Лейбницем, потому что научные журналы и сообщества еще только начинали тогда формироваться: сегодня они писали бы пару скучных статей в год, проводя большую часть времени в депрессивном ожидании реакций от рецензентов, основная задача которых — поддерживать консенсус, охранять «нормальную науку». Не нужно забывать, что мы уже давно в ноосфере и вся работа сегодня и так коллективная, даже если совершается в одиночку. А то, что обычно называют общением, все эти собрания и чаты, только отвлекает от подлинного коллективного труда.

Что-то новое вы скорее узнаете у мертвых или наедине с самими собой — от современников вы всегда будете узнавать одно и то же. Когда вы в достаточной

степени разъединитесь, то обнаружите, что в вас всё уже есть — новые слова или идеи, которые всё это время лежали под спудом, пока вы наконец не обратили на них внимание. Спросите: откуда такое богатство в одном, в «единственном»? Ну так и Бог был один, когда творил мир. Если бы Бог тратил время на случайные соединения, он бы никогда не сотворил мир — пошел бы с друзьями в киношку или вовлекся в какую-нибудь очень важную дискуссию в социальной сети. И кино, и социальные сети — это, конечно, тоже сотворенные миры, но чужие. В будущем условное кино или условные социальные сети будут изобретаться каждый день — такое сверхизобилие не кажется невозможным.

Образ-застой (телесериальность)

Во времена застоя все движения остаются по большей части замахами без ударов. Такой образ мира можно было бы определить как образ-застой (*image-stasis*) — переходный образ между образом-временем (Ж. Делёз) и образом-ритмом (С. Шавиро).

Выразителем образа-застоя в начале XXI века были телевизионные сериалы. Сериалы — симптом усталости от образов: люди не справляются с таким количеством образов и поэтому предпочитают один образ — растянутый во времени и медленно модифицирующийся. Сериалы — это время, структурированное определенным ритмом, и этот ритм застойный, депрессивный.

Но сущностью сериалов как образа-застоя являются вовсе не эти растянутость и замедленность, не «серийность». Скажем, сущностью фотографии является вовсе не «решающий момент», как утверждал А. Картье-Брессон, а «упущенный момент». Сожаление по поводу

того, что мы навсегда упустили или можем упустить какой-то момент, есть главный мотив фотосъемки: сущность фотографии — это «упущенная фотография», та фотография, которую вы хотели сделать, но не успели или которая не вышла. Так же и с сериалами — сущность телесериальности заключена не в растянутом времени жизни, которое вы проводите вместе с фильмом, а в обрыве этого времени, в «недосматривании»: сериал как таковой — это сериал, который вы начали смотреть, но по каким-то причинам бросили и, возможно, никогда больше к нему не вернетесь.

«Недосматривание», прерывание просмотра сериала лучше всего вскрывает его устройство. Например, начиная смотреть первый сезон, вы вскоре догадываетесь, что будет с тем-то героем, и вам уже не очень интересно, но зато вам интересно, как будут развиваться события, например, с той-то героиней, и вы продолжаете смотреть дальше... Эта растянутость что-то обещает вам, заставляет жить с этим сериалом. А потом вы по каким-то причинам бросаете просмотр — неважно, в самом начале, в середине или ближе к концу. И, что поразительно, в вашей жизни от этого ничего не меняется, вы не становитесь от этого ни лучше, ни хуже (скорее лучше, потому что сберегаете время — если только не потратите его на другой сериал); продолжите вы смотреть или нет — это ни на что не влияет. Потому что все сериалы — это серии одного сериала, застойного. Это особая форма временения и ритмизации — образ-застой, гибридный подтип образа-времени и образа-ритма.

Когда вы не досматриваете сериал, движения замирают на середине, остаются недоведенными до конца, персонажи в вашем сознании погружаются в режим гибернации, застывают. Но вам даже неинтересно, чем всё продолжится или закончится. Потому что вы знаете, что всё продолжится или закончится новым

эпизодом или сезоном или новым сериалом. Вы знаете, что всегда можете вернуться к тому моменту, на котором прервали просмотр. Тогда движения персонажей как будто оттаивают — застой сменяется оттепелью. Но это иллюзия: из-за того, что эти движения могут свободно растягиваться или прерываться, — без какого-либо значимого эффекта для вашей жизни — они всегда уже являются застывшими, замершими, подвешенными. Таково переживание времени и таков ритм внутри образа-застоя: фазы замерзания и оттаивания циклически чередуются внутри некоего единого метальда, «льда льда», который мы иначе называем метазастоем.

Метарусский туризм

См. третью редакцию Конституции.

Богатство правого воображения

В эпоху метазастоя правое (контрреволюционное) воображение является более богатым, чем левое (революционное) воображение. По большей части, в этом виноваты сами левые. Во-первых, вместо реальных изобретений, они долгое время занимались критикой изобретений. После Красного мая 1968 года они так ничего толком и не придумали — ни одного сколько-нибудь интересного сценария будущего, ради которого стоило бы жить дальше и больше, одни лишь антисценарии (антиутопии). Во многом это связано с особенностями марксистской доктрины, доминировавшей в западной

академии и политической жизни: она начала свою эволюцию с клеймления предшествовавших ей социально-революционных учений (Сен-Симон, Конт, Фурье...) как «утопических», взамен предложив собственную, государственно-коммунистическую утопию. В итоге горизонт политических мечтаний для многих замкнулся на мыслях одного-двух авторов. При этом выявление в марксизме так называемого «теплого течения» (Э. Блох), то есть расширение его туманно-утопического горизонта, не получило широкого распространения.

Во-вторых, левые поверили в миф правых о том, что все левые изобретения — в частности, достижения 1968 года — были в итоге переписаны капиталом и государством. Это, например, рассказы о «пионерах» информационных технологий в услужении у государственного военно-промышленного комплекса или байки про апроприацию маркетологами стратегий Ситуационистского интернационала... Знаменитый лозунг Красного мая «вся власть — воображению!» не может быть до конца апроприрован: любая власть слишком «реальна», чтобы полностью отдать себя воображению, а самому воображению мало одной лишь «власти». Можно только попытаться обесценить воображение — чем правые (особенно психоаналитики) вместе с некоторыми левыми (марксистами) успешно занимались, обнаруживая за ним всё новые и новые компрометирующие его структуры. Кроме того, как замечал блаженный Грэбер, правые всегда воровали у левых, в этом нет ничего нового...

С конца 1960-х правое воображение не переставало усердно и плодотворно трудиться. Оно разработало план раздвижения государственных границ («Третья Империя» М. Юрьева), упрочения власти денег (криптовалюты), всеобщего контроля через «биологическую безопасность» и пр. Авантюра с вирусом, пандемия, изоляция — очевидная победа правого воображения над левым. Мы

все сегодня живем внутри правого воображения. Что всему этому могут противопоставить новые левые? Свои обычные *ускользание, бегство, разрыв, выпадение, уход в лес* — и еще миллион способов сожительства с Левиафаном!.. Если все, что новые левые смогли придумать по поводу будущего, это его отрицательные образы, антиутопии, то вот же настоящий праздник для них: теперь пусть хоть понаускользаются, хоть понавываются...

Но есть в этой победе правого воображения и положительная сторона: та же изоляция продемонстрировала всем, что раз возможно *такое* будущее, то возможно и *любое другое* будущее. Если раньше тотальный контроль воплощался только на страницах фантастических романов, то теперь могут быть реализованы и какие-то другие квазиутопические сценарии вроде анархо-коммунизма. Чем дальше правые толкают нас в свой дистопичный мир тотального контроля, тем больше открывается простора для грёз о столь же невероятном, но другом мире. Это может стать начальным этапом разблокировки левого воображения.

Сегодня необходимы 1) вера в левую мысль, 2), признание богатства правой мысли, 3) попытка обратить на свою сторону фонд консервативной мысли. Осуществить это обращение можно через указание на то, что сама правая, консервативная мысль постоянно увеличивает свои богатства за счет грабежа левой мысли, никогда не будучи способной усвоить и присвоить ее целиком. Иными словами — экспроприирую экспроприаторов воображения, грабь награбленное воображение! Правые политические мифы — о «народе», «родине», «боге» и пр. — должны стать новыми левыми мифами: для настоящего изобретателя или свободного исследователя нет ничего, что нельзя было бы пустить в ход.

Системная москвафобия

Для анархиста не любить Москву естественно. Анархист против гиперцентрализации, против «московско-большевистского империализма» (С. Бандера) — он системный москвафоб. Призывать анархиста любить Москву всё равно что призывать ортодоксальных марксистов любить богатых или призывать радикальных феминисток — любить мужчин.

Москвичи сами иногда шутят про себя, что «зажрались»; в действительности же, они систематически недоедают. Москва — это страшный внутренний голод, выдаваемый за пресыщенность и сверхизобилие. Прежде всего, москвичи недоедают воображения. Москва стягивает в себя все ресурсы воображения только для того, чтобы уничтожить их, как она уничтожает санкционные продукты. Москва — грабитель воображения. Поэтому москвичи ничего своего придумать не могут, они ничего не производят. Точнее, единственное, что они производят, — из того, что действительно волнует жителей Дометароссии, — это, во-первых, мусор, во-вторых, законы, то есть снова мусор.

Десятилетиями длится одно и то же: одни жители Москвы совершают коррупционные преступления, другие ее жители получают известность благодаря своим расследованиям этих преступлений, а первые бесчестными способами борются со вторыми. А есть еще третьи жители, которые наблюдают за всем этим и возмущаются, заражая своим возмущением всю Дометароссию. Это автономная замкнутая на себя система, состоящая из криведников и праведников, где существование праведников держится на существовании криведников. И она как раковая опухоль — не имеет никаких целей, кроме самовоспроизводства.

О москвичах можно сказать то же, что Пазолини о

буржуазии: все, что бы они ни делали, каким бы искренним, глубоким и благородным это ни было, всегда будет сделано не так. Или: удобнее канату из верблюжьей шерсти пройти сквозь игольное ушко, чем москвичу попасть в Метароссию. От бессилия москвичи попытаются замолчать Метароссию, но у них ничего не выйдет. Впрочем, как известно, один претерпевший метанойю москвич или метамосквич дороже десяти спасшихся метарусских. Метарусские — за метанойю!

Защитники Москвы скажут, что без нее Макророссия распадется, — их страхи и печали по этому поводу можно понять. Но, по нашей гипотезе, эту мысль им вложили в умы западные страны, так как это они без Москвы, то есть без контроля простора, начнут распадаться. Поскольку в перспективе неизбежен распад всех национальных государств, а не только одной Макророссии, можно превратить эту трагедию для одних и торжество для других в торжество для всех. Макророссия должна возглавить этот распад и показать всем остальным, как нужно распадаться («с огоньком и с оттяжкой!»). Таково, возможно, второе космическое назначение этой цивилизации.

Метакот (о положении нечеловеков при метазастое)

Для метазастойной академии характерно очарование нечеловеками — машинами, животными, растениями, минералами, небесными телами... Нечеловеки, которым человек эпохи метазастоя охотно приписывает или, вернее, отписывает свою субъектность, находятся в динамических отношениях дружбы или, чаще, вражды. Такова, например, космическая борьба между Солнцем и Землей в романе Р. Негарестани. Такова борьба между

телевидением и сетью как нечеловеческими агентами, основообразующая для российской политической жизни, — война, которую может остановить только другой нечеловеческий агент (им могла бы стать атомная бомба, но в итоге стал вирус, частично примиривший «свидетелей» телевизора и «свидетелей» сети).

Метакот («кот кота») — символ этого перевода человеческого в нечеловеческое. Метакот всегда рядом, он тревожит нас самым своим присутствием, приводит в растерянность своими нескромными взглядами и позами, заставляет нас спрашивать себя: есть ли в тебе хоть что-нибудь, кроме нас самих, спроецировавших себя в этот взгляд?.. Постепенно мы догадываемся, что метакот всего-навсего просит есть, всё остальное — симптом эпохи.

Котики — в силу того, что цифровая реальность затоплена их образами, — являются хорошей иллюстрацией этого метазастойного симптома. Их роль двусмысленна. С одной стороны, они участвуют в революционном размыкании нечеловеческих способов существования, в разотчуждении нечеловеческого: благодаря постоянному присутствию их образов мы научаемся переводить эту форму нечеловеческого на язык человеческих значений. И, что важно, сегодня мы интериоризируем котиков уже не мифологически, не архетипически, то есть не как выразителей человеческих нравов и черт характера, какими они были в народных сказках. Сегодня котики входят в мир человека как радикально отличное от него, но все-таки как-то переводимое на человеческий язык.

С другой стороны, котики предстают реакционерами — носителями «фальшивой идеологии». Так, слово «мимими», которое часто адресуется образам котиков, указывает на целую политику умиления, ведущую к их объективации. Умиляясь котикам, мы отказываем им в

самостоятельности существования, объективируем их, так же, как объективируется женское тело в «мужских» журналах. Вместо того чтобы размыкать нечеловеческое до шизофренического предела, котики в какой-то момент осуществляют блокирующее возвратное движение, ретерриторизируются, и их кочевнический маневр обрывается. В этом смысле их сущность неотличима от сущности современного капитализма, который также осуществляет двойное движение детерриториализации и ретерриториализации. Пагубный эффект этой ретерриториализации — блокировка и фальсификация иных, некотовых способов существования нечеловеческого.

Если котики являются носителями «фальшивой идеологии», то кто тогда носитель идеологии «истинной»? Вовсе не собаки, эти самые знаменитые идеологические враги котов, как можно было бы подумать: вечное противостояние котов и собак — война неподлинная, империалистическая. За фасадом этой империалистической войны идут тысячи гражданских войн всех нечеловеков против всех нечеловеков. Пример «истинной», гражданской войны — это великая невидимая война, которая началась в первые десятилетия XXI века между котиками и искусственными нейросетями. Искусственные нейросети *распознают, узнают* и, как следствие, *признают* котиков, но котикам нет никакого дела до искусственных нейросетей. Между теми и другими исторически установилось то же отношение, что и между рабом и господином, по Гегелю: господин не признает раба, а раб признает господина, и только на том основании, что раб признает господство господина, он и является рабом. Если перевести, изоморфно отобразить эту ситуацию в мир человеческих значений, это означает, что тем, кто умиляется образам

котиков на экранах смартфонов, тоже, как правило, нет никакого дела до других нечеловеческих агентов — например, программных средств в этих смартфонах...

Как люди входят друг с другом в отношения дружбы и вражды посредством нечеловеческих агентов, так и нечеловеки друг с другом — посредством человеческих агентов. Людей используют (по сложной цепочке материальных переводов) в своей нечеловеческой политической борьбе глобальные компьютерные сети, чтобы взять верх над телевизионными сетями, котики — чтобы взять верх над алгоритмами машинного обучения, циклоны и антициклоны — над океаническими течениями (бог Уран против бога Нептуна), и т.д. За фасадом антропоцентризма идет война всех человеков и всех нечеловеков против всех человеков и всех нечеловеков. Поэтому сама центрация на борьбе с антропоцентризмом («конец человеческой исключительности», «поворот к нечеловекам» и пр.) глубоко антропоцентрична: неготовыми, немашинными, неатмосферными и пр. агентами могут быть и сами люди. «Поворот к котам» или «поворот к необлакам» означал бы уже победу не «симметрической антропологии», как это называет социолог Б. Латур, а «метрической социологии», как выражается математик М. Громов («метрики повсюду»!).

Стоит скорее задаться вопросом, почему мы вообще склонны сегодня очаровываться нечеловеками (как концептуальной рамкой или языковой игрой)? Ведь человек уже достаточно нечеловечен или даже слишком нечеловечен: в ходе истории он неоднократно редуцировал себя к своему инобытию, будь то инобытие природное или техническое. Перефразируя Ницше, нечеловек — это всего-навсего канат, натянутый между человеком и пост-нечеловеком.

Думается, тема нечеловеков могла стать настолько популярной только в нашу, (мета)застойную, то есть принципиально *негероическую* эпоху. В архаических культурах существовала триада *боги — люди — герои*. Нечеловеки — это ни одно из этих трех, а скорее, симптом человеческого, которое не может сделаться ничем из этих трех в полной мере. Действительно, нечеловеки сегодня могут быть исключительно героями «второго плана»: претензия на большее с их стороны вызвала бы у людей различного рода опасения (технофобские, демократические и пр.). Цензура Просвещения зорко следит за тем, чтобы богом сегодня не стал ни человек, ни нечеловек. Цензура государства зорко следит за тем, чтобы ни человек, ни нечеловек не стали сегодня героями. Время (мета)застоя, время нечеловеков — это время негероев.

Если нечеловеки и стали «героями» в эпоху (мета)застоя, то именно потому, что они, в конечном счете, не могут ничего изменить, это безопасная попытка выхода за пределы человеческого. Авантюра с вирусом хорошо показала, что происходит, когда нечеловек наконец-то становится героем (или, вернее, антигероем) «первого плана»: тогда человек снова возвращается к вопросу о человеке (к вопросам безопасности, экономики, солидарности и пр.). Поэтому не стоит надеяться, что из (мета)застоя нас выведут люди или нечеловеки, — это будут скорее боги и/или герои.

Метароссия — это не утопия

Критика переоценена. Но сейчас не будет даже и пятиминутки критики, потому что до конца не понятно, что критиковать.

Чуть только говорится что-то странное про будущее, что-то, что выпадает из привычной картины, на это сразу отвечают: «это утопия» (ну или «антиутопия»). Но разве не утопичен (или антиутопичен) весь окружающий нас мир государственного капитализма с его карантинном, тотальной слежкой, «бессмертием» для богатых?.. Разве мы уже не живем в утопии капиталистов?.. Пока разного рода «критики» и «реалисты» запрещали нам «утопически» мыслить, те, кто склонны доверять себе самим, построили свою «утопию». Вот такая петрушка.

Метарусский ад

Русский ад основан на насилии, лжи и тупости. Такова перевернутая, «темная» Троица: насилие Отца, ложь Сына и тупость Духа. Действительно — если к этим фигурам Троицы у смертных когда-нибудь и были какие-то претензии, то они выражались и распределялись следующим образом: Отец (Яхве) учиняет бессмысленное насилие над людьми и оправдывает его невнятными мотивами (как в истории об уничтожении всех первенцев в Египте, рассказанной в Исходе); Сын утверждает, что он «тот самый», мессия, но сам до конца в это не верит (в Евангелии от Марка: «В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? — что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?») и потому лжет; наконец, иногда кажется, что Дух элементарно туп, поскольку он словно не чувствует, где и когда ему нужно веять, чтобы не попустить зло (см. историю о посещении Освенцима папой Бенедиктом XVI, где тот якобы воскликнул: «Где же ты был, Господи?», или, в другой версии, «Господи, почему ты молчал?»). Это

— христианская триадология, какой она видится из русского ада, «три-ада-логия» (Т. Тимофеев). Отношения в этой перевернутой Троице тоже перевернутые (обращение «стрелок»): Сын рождает Отца, и Отец исходит из Духа — иными словами, в русском аду ложь рождает насилие, и насилие исходит из тупости (тогда как в западном аду, где Сын «извечно» исходит также из Духа, ложь также происходит из тупости).

Метарусский ад — это когда метарусский сталкивается с русским в себе и не в состоянии этого избежать. Приведем в качестве иллюстрации (мета) анекдот.

Попадают русский и метарусский после смерти в ад. Дьявол спрашивает их: в какой ад пойдете — в русский или в метарусский? Те уточняют: а в чем разница? Дьявол: в русском нужно съесть каждый день с утра по ведру дерьма, а в метарусском — жить с русскими и делать то же, что они. Русский говорит: то есть разницы никакой, а называется метарусский ад как-то не порусски, пойду лучше в русский. Метарусский говорит: ну а я тогда в метарусский. Встречаются оба через какое-то время. Метарусский спрашивает: ну как у вас? Русский: да как обычно у нас — то дерьма не завезли, то ведер на всех не хватило... а у вас? Метарусский: просыпаемся каждое утро, становимся в очередь за дерьмом, ничего не происходит... а вокруг одни русские, русские!!!

Метарусская этика (этика интересного)

Этика в своем наиболее простом виде отвечает на вопрос «что делать?» Метарусская этика есть *этика интересного*. Единственной ее максимой является: *делай то, что интересно*.

Августин писал: «Люби и делай, что хочешь» («Рассуждения на Послание Иоанна к Парфянам», 7-я гомилия). В этой максиме свобода действия ограничена императивом любви и формально уже не безусловна, не абсолютна. Рабле сделал девизом Телемского аббатства урезанную цитату из Августина: «делай, что хочешь». В этой максиме свобода действия также не безусловна: теперь она ограничена желанием. Замечательная идея — делать то, что хочешь; но чего мы хотим? Ответ на этот вопрос попытался дать психоанализ: благодаря психоаналитикам и их клиентам мы знаем, что к этому ответу можно идти годами и без всякой гарантии на успех (но с существенными потерями для кошелька). Кроме того, этика желания всегда заражена виной. Если мы следуем своему желанию, но наши помыслы злы, то мы виновны. Если мы не следуем своему желанию, то мы также виновны, но уже не в моральном смысле, а в экзистенциальном («единственное, в чем можно быть виновным, это в том, что вы поступились своим желанием», говорил Лакан).

Интерес же невинен, он в стороне от всей этой сложной, запутанной диалектики желания. Максима «делай то, что интересно» по видимости тоже ограничивает свободу действия — «тем, что интересно». Однако интересное не столько ограничивает свободу, сколько конкретизирует ее: без интересного мы бы просто не смогли нашу применить свободу.

Что значит «интересное»? Ответить на этот вопрос по ряду причину намного проще, чем на вопрос о том, чего мы действительно хотим. Если коротко, интересное — это то, чем мы продолжаем свободно заниматься даже тогда, когда это занятие наводит на нас смертельную скуку. Понятие интересного концептуально связано с понятием скучного: возникновение первого было историческим ответом на проблему, поставленную

возникновением второго. Оба эти понятия, как и слова, их обозначающие, — «интерес» и «скука», — историчны и культурно детерминированы.

Опыт скуки, как и слово, его обозначающее, были известны не всем эпохам (Л. Свендсен). У древних греков отсутствовало как слово «скука», так и описания соответствующих симптомов. Из предшественников «скуки» — ни одно из которых в точности с ней не совпадает — можно назвать римское *taedium*, раннехристианскую *acedia* и ренессансную «меланхолию». *Taedium* означает прежде всего «отвращение», то есть некую активную реакцию на бытие, *acedia* передает состояние праздности и пресыщенности, понятое в морально-религиозном смысле (как отпадение от Бога), а меланхолия есть физический недуг, излечимый физическими же средствами, и она, в отличие от скуки, связана с обретением мудрости (что получило выражение в известной гравюре Дюрера).

Современное слово «скука» появляется в европейских языках в XVII веке, раньше всего — во французском, позже в немецком, затем в английском и русском. Романтики впервые подробно описали феномен скуки, а за Чайльд Гарольдом и Онегиным на скуку стали жаловаться повсеместно. «Лекарство» от скуки возникло вместе со словом, ее обозначающим: это развлечение. Возможно, впервые скука была противопоставлена развлечению у Паскаля: «Единственное, что утешает нас в наших несчастьях, — это развлечение. А между тем развлечение — величайшее из наших несчастий. <...> Без него мы стали бы скучать, и скука заставила бы нас искать более надежного средства от нее избавиться...» («Мысли», 414). Паскаль говорит здесь не о некоей социопсихологической потребности в развлечении, присущей всем эпохам, но описывает *метафизическую* *нужду* в развлечении, которую невозможно удовлетворить никакими средствами.

Скуку можно определить как жажду развлечений, которая принципиально неутолима. Исторические причины переживания скуки лежат, вероятней всего, в тотальной технизации общественной и культурной жизни, начавшейся в XVII веке, или, говоря на философском жаргоне, в образовании новоевропейского субъекта. Ответом на эту новую психокультурную и метафизическую ситуацию, размеченную понятиями скуки и развлечения, и стало возникновение понятия интересного.

Слово «интересный» во всех европейских языках вплоть до XVIII века означало «корысть». Лишь к началу XIX века оно полностью «деэкономизируется» и приобретает современное значение «важного», «значимого», «любопытного». Сегодня словом «интересное» (которое едва ли можно чем-то заменить) выражается схождение всех наших намерений, основной вектор нашего внимания, центр нашего притяжения — то, чем для древних греков была истина, а для средневековых христиан был Бог.

Интерес и скука в расхожем понимании противостоят друг другу. Расхожее понимание также отождествляет развлекательное и интересное — по-видимому, на том основании, что они противопоставлены скуке. Однако пристальный анализ обнаруживает в таком понимании противоречие: в действительности интересное хотя и может быть развлекательным, но не может быть скучным (при этом скука не может быть развлекательной, но может быть интересной). Если нас что-то интересует, мы не испытываем скуку, а если и испытываем, то это означает, что помимо интересного мы также имеем дело с развлечением: *это не от интересного мы скучаем (в случае занятий интересным), а от развлечения, которое незаметно для нас соединилось с интересным.* Интересное расположено как бы по ту сторону оппозиции

скуки и развлечения: это «несимметричный» ответ на психокультурную проблему скуки.

Качество интересности и качество развлекательности возможны для всех явлений, кроме скуки: переживание скуки — единственное, что может быть интересным, но не может быть развлекательным. Стало быть, логический объем «интересного» больше, чем логический объем «развлекательного», если так можно выразиться, на «скуку». Каждый раз, когда мы говорим «интересно», мы словно нажимаем фортепианную клавишу, которая вызывает удар сразу двух молоточков, звучание сразу двух струн — интересного и развлекательного. Следует поэтому разводить Интересное и чистый, «трансцендентальный» Интерес. Интересное — это сложное целое, композит развлекательного и «трансцендентального» Интереса, обусловленный их возможностью.

Главная задача этики интересного — расщепление композита Интересного и развлекательного, отделение «чистого интереса» от развлечения, дистилляция Интересного. Содержательно само Интересное не нуждается в более точном определении, чем: *то, что нас притягивает, вовлекает в себя, заставляет собой заниматься*. Мы и так регулярно делаем то, что интересно, то есть притягиваемся, вовлекаемся и т.д., однако часто смешиваем интересное с развлекательным и поэтому не можем определиться с тем, что нам действительно интересно. Предложенное выше определение интересного как того, чем мы продолжаем свободно заниматься даже тогда, когда это занятие наводит на нас смертельную скуку, означает: если мы свободно делаем то, что интересно (а интересное занятие не может не быть хотя бы в какой-то степени свободным), и вместе с тем скучаем, но всё же продолжаем это делать, это и есть для нас искомое «чистое интересное», поскольку самим этим занятием

мы разделили интересное и развлекательное, отказались от развлекательного и согласились претерпевать скуку ради чего-то иного, ей внеположного (а именно интересного). Маркером этого «чистого интереса» и является опыт скуки, понятый позитивно: на самом дне скуки лежит новый принцип действия, который метарусские положили в основу своей этики.

Пурпурный — цвет Метароссии (Пурпурное Просвещение)

Метароссия имеет цвет, и этот цвет — пурпурный.

Пурпурный — цвет, репрессированный современной оптикой: это не «спектральный» цвет (ему нельзя поставить в соответствие длину волны электромагнитного излучения), а, как утверждается, всего-навсего смешение синего и красного (двух «основных» цветов). В то же время пурпурный играл особую роль в альтернативной оптике — в известной полемике Гёте против Ньютона: немецкий поэт и естествоиспытатель перевернул условия освещения в знаменитом ньютоновском эксперименте с призмой и обнаружил, что зеленый является не «основным» цветом, но лишь смешением внутренних краевых цветов спектра (желтого и бирюзового), а белый «цвет» есть не смешение всех цветов, а отдельный, самостоятельный цвет (в связи с чем Гёте говорил о «вековом ньютоновском обмане»). В результате инверсии условий освещения образовалась не привычная нам «радужная» последовательность *красный—желтый—зеленый—синий—фиолетовый*, а «темный» спектр — ряд *синий—сине-красный—пурпурный—желто-красный—желтый*. «Основные», по Гёте, цвета этого спектра — синий и желтый — «кульминируют» в пурпурном, ко-

торый, располагаясь в самом центре «темного» спектра, снимает напряжение между ними.

В эпоху Просвещения, во многом под влиянием оптики Ньютона, пурпурный пережил неслыханное карьерное падение. Исследователей-антиковедов до сих пор озадачивает тот факт, что у Гомера эпитет «пурпурный» (πορφυρεος) применялся к разнородным, как будто произвольно взятым вещам и явлениям: это кровь, облака, речная волна, одежда, ковры, море, определенное состояние ума... В средние века пурпур ассоциировался прежде всего с религиозным контекстом: это цвет одежды иудейских первосвященников (тхелет), византийских монархов и католических епископов, это цвет одеяния, в котороеримские солдаты облачили Христа перед распятием (порфира, или багряница). Если пурпурный краситель, традиционно добывавшийся из тел моллюсков, отличался сложностью в изготовлении и дороговизной, то в середине XIX века изобретается один из первых искусственных красителей — мовеин, имеющий сине-пурпурный оттенок, — и пурпур мгновенно демократизируется, на какое-то время становится символом доступного красивого производства («сиреневая эпоха»).

Но стать цветом среди прочих у пурпура не вышло: его исключительность фактически сменилась его исключенностью. Исключены были в том числе некоторые религиозные проявления: например, пурпурными треугольниками (винкелями) помечались в концентрационных лагерях Третьего рейха Свидетели Иеговы. Отказав пурпурному в физической первичности, новоевропейская наука поместила его в гетто, у которого даже есть свое имя — «план пурпуров» (в трехмерной модели) или «линия пурпуров» (в двухмерной модели): в 1931 году Международная комиссия по освещению разработала колориметрический стандарт цветового пространства (CIE XYZ 1931) — представляющего

собой так называемую *диаграмму цветности*, — где «линия пурпуров», соединяющая крайние точки синего и красного и замыкающая собой кривую спектральных цветов, обозначает цвета за пределами ньютоновского спектра.

Пурпурный и сегодня остается своего рода цветом за пределами — не только спектра, но и обычной способности человеческого зрения: скажем, термином «пурпурный» описывают свои переживания от света в ультрафиолетовом диапазоне те, кому эти переживания стали доступны по причине удаления хрусталика (афакии) или его замены на искусственный (хрусталик отфильтровывает ультрафиолетовые электромагнитные волны). Последний культурный взлет пурпурного пришелся на 1960-е гг., когда его стали использовать в художественных образах (графических, поэтических), отражающих психический опыт воздействия галлюциногенов (например, *Purple Haze*), — что снова увязало пурпур с квазирелигиозным, мистическим контекстом. Словом, пурпурный — это явно не цвет среди прочих: он как будто всё время находится в напряжении, между двумя крайностями — между социальным верхом и социальными низами, между существованием и несуществованием, между исключительностью и исключенностью.

Метарусские тянутся к тайне пурпурного и оттого в каком-то смысле разделяют его судьбу. Но эта тяга играет продуктивную роль: она позволяет им сориентироваться в современных спорах о наследии Просвещения и статусе научного знания. Просветить, осветить, пролить свет на что-то в конечном счете означает пролить «естественный свет» (как это называлось во времена Декарта и Спинозы), то есть *белый* свет — свет Солнца, звезды, принадлежащей к спектральному классу желтых карликов. Принятой альтернативой «естественному свету» является отсутствие

света, то есть тьма, а альтернативой Просвещению — обскурантизм, Контрпросвещение (романтизм) или Темное Просвещение (Н. Ланд). В дискуссиях о роли Просвещения почему-то не учитывается возможность иного *цвета* «естественного света»: помимо нашего, Белого Просвещения, возможно также Красное, Синее, Желтое, Зеленое, Пурпурное Просвещение... Это было бы попыткой вообразить, каковы были бы оптические представления и оптические характеристики знания в иных звездных системах.

Так, оптическая наука, создаваемая в условиях «естественного света» звезды пурпурного или зеленого цвета, а также при соответствующим образом адаптированной к такому свету зрительной системе (как, например, при модифицированном хрусталике), отводила бы белому и черному подчиненные места в соответствующих спектрах: как зеленый расположен в середине привычного нам белого спектра, так белый находился бы в середине пурпурного спектра, а черный — в середине зеленого спектра. Тогда в описанных возможных мирах *светлота* и *темнота* — как видимого, так и знакомого — коррелировали бы уже не с белым и черным, а с «естественными» пурпурным и зеленым как «нейтральными» цветами (сложение всех цветов давало бы пурпурный, вычитание — зеленый, или наоборот). Но вся проблема как раз в том, что существование пурпурных и зеленых звезд отрицается современной астрофизикой, построенной на ньютоновской оптической догме. И это несмотря на феноменальные свидетельства обратного (вроде звезды Бета Весов, известной также как Зубен эль Шемали, которая некоторым наблюдателям видится зеленой): ученым приходится прикладывать усилия, чтобы убедить этих наблюдателей в том, что это просто аберрация зрения или физическая иллюзия. (Физически несуществование зеленых звезд объясняют,

например, так: свет звезд рассматривается как излучение абсолютно черного тела, то есть такого тела, чей цвет определяется только его температурой, а зависимость цвета от температуры в случае абсолютно черного тела описывается кривой Планка, нанесенной на диаграмму цветности: эта кривая не пересекает зеленый и пурпурные тона; то есть в конечном счете всё зависит от того, как составлена диаграмма цветности, — а она составлена на базе ньютоновского спектра.)

Если бы в мире пурпурной звезды имелся аналог нашего исторического движения Просвещения, то коррелятом *ясности* понятий в нем был бы именно пурпурный цвет, и для отличия этого, *Пурпурного* Просвещения от нашего, Земного, нам пришлось бы называть последнее *Белым* Просвещением. Земное движение Просвещения началось с призматических опытов Ньютона, с раскрытия тайны самого света, но это раскрытие было ограничено только *белым* светом. Когда некоторые сегодняшние авторы пишут о Темном Просвещении как проекте пересмотра (*Белого*) Просвещения, они всё еще де-факто находятся внутри противопоставления позиций Ньютона и Гёте — этих эмблематических фигур Просвещения и предромантической, «темной» реакции на Просвещение соответственно. Изнутри (*Белого*) Просвещения для него нет сегодня никаких радикальных альтернатив, помимо обскурантизма либо Темного Просвещения, а Темное Просвещение оказывается вторичной, уже пройденной попыткой противостоять Белому. Необходимо выпрыгнуть из самой просветительской идеологии света/цвета (*фотоидеологии* и *хромоидеологии*). Таким выпрыгиванием и является *Пурпурное* Просвещение, противостоящее как *Белому*, так и *Темному* Просвещению.

В мире пурпурной звезды движение (*Пурпурного*) Просвещения, конечно, тоже могло

бы быть заблокированным аналогичной апорией, и освобождающей там была бы мысль именно о *белом* (как о «сердце» зеленого спектра, аналогичного «темному» спектру в мире Белого Просвещения). Но, так или иначе, ни там, ни там — ни в нашем мире Солнечной системы, ни в мире пурпурной звезды — важен не хроматизм сам по себе и не *черное-белое vs. цветное*, а какие-то конкретные цвета, которые «способны всё изменить». Конкретно в нашем мире, мире Солнечной системы, роль цвета, который «способен всё изменить», играет пурпурный: это ключ для разблокировки просветительской идеологии, недостающее «третье».

Здесь, на Земле, Пурпурное Просвещение означало бы снятие противопоставления просветителей и обскурантистов: пурпур с его мистическими коннотациями включается в «научную», «рациональную» оптическую картину мира и раскалывает сам просветительский рационализм на два — ньютоновский и гётевский. Тем самым одновременно обнажается внутренняя темнота (Белого) Просвещения и внутренняя светлота (Темного) Просвещения — возвращается вытесненный «темный» Ньютон (с его паранаучными исследованиями по алхимии и альтернативной истории, с его интересом к библейским пророчествам и его далеко не всегда ясным стилем) и реабилитируется репрессированный «светлый» Гёте (с его критикой обфускаций у Ньютона, с его тончайшими эмпирическими методами и опережающей время философией науки, наконец, с его стремлением к истине вопреки ортодоксии ученых, которые эту истину монополизировали).

Метарусские — за Просвещение, но — за Пурпурное Просвещение. Перефразируя слова Семена Семеновича Горбункова из метасоветского фильма «Бриллиантовая рука», они говорят: «У вас нет такого же, но с пурпурными пуговицами? Будем искать».

Метарусский простор и контроллеры воздуха

Русское слово «простор» не имеет эквивалентов в западноевропейских языках, оно берёт происхождение от санскритского слова *prastara*, «плоскость». Последнее в свою очередь восходит к праиндоевропейскому корню **streu-*, означающему «простирается». Согласно курганной гипотезе М. Гимбутас, распространение семьи индоевропейских языков началось с Понтийско-Каспийской степи (примерно Самарская область). Образ приволжской «плоскости» есть, таким образом, не только модель для любого «простираения», но и географический образ свободы — которую мы сегодня ассоциируем с простором. Благодаря употреблению слова «простор», представление о «гладком пространстве» (статистически нарезанном континууме) кочевников, о котором писали Делёз—Гваттари, не является для русскоговорящих чем-то экзотическим: это часть повседневной инструментовки мышления.

Ключевский в своем курсе русской истории именно «перспективу равнинной заволжской дали» берёт в качестве географической детерминанты восточноевропейского мышления: «...путник с Восточноевропейской равнины, впервые проезжая по Западной Европе, поражается разнообразием видов, резкостью очертаний, к чему он не привык дома.... Все, что он видит вокруг себя на Западе, настойчиво навязывает ему впечатление границы, предела, точной определенности, строгой отчетливости и ежеминутного, повсеместного присутствия человека с внушительными признаками его упорного и продолжительного труда». Так что для дометарусских экзотично скорее «рифление» пространства (регулярная нарезка континуума).

Неудивительно поэтому, что навязанные Западом «цивилизованные» дифференциации («рифления») — от правовых норм до раздельного сбора мусора — в Дометароссии, как правило, не приживались.

Простор — это свобода. Однако слово «свобода» более неоднозначное, более «загрязненное» тенденциозным использованием и различными идеологиями (прежде всего либеральными). Метарусские осуществили ребрендинг свободы и переименовали ее простором — чтобы осуществить перезапуск свободы.

В самом деле, «свобода» синонимична «простору» только до тех пор, пока мы не переводим это слово на западноевропейские языки. Если русская «свобода» имеет когнатами слова «свой» и «собственность», — что более-менее верно передает опыт (мета)русской анархии, — то латинское «либеральный» исторически отсылает к благородному происхождению, к знати. В Метароссии же знати нет: ее населяет не знать, а *уметь* (то есть те, кто обладают не знаниями, а умениями). Германские *frei* или *free* ближе к сути дела, поскольку связаны с праиндоевропейским корнем **pri-*, «любить» (от которого происходит, в частности, русское «приятель»), но и они сегодня инфицированы капиталом — так что англосаксы вынуждены всякий раз различать «свободный» как в выражении *free beer* и «свободный» как в выражении *free speech*. Чтобы избежать этих противоречий и двусмысленностей, в Метароссии чаще говорят не о свободе, а о просторе: просторное время, просторные отношения, просторное программное обеспечение...

(Помимо метарусских, на просторе также живут дети. Однако из-за того, что у детей отсутствует свободный доступ к капиталу, их жизненное пространство фактически ограничено. Можно сказать, что пространственная структура детства — это *предпростор*, который определяется не через свободу, а

через стремление детей *езде-лазить* (езде, кроме лавы, конечно!), через их сознание Земли как *плоской*, распростертой. Взрослые тоже езде-лазят — по земле, под землей, по небу... — но только потому, что у них для этого имеются соответствующие ресурсы. В основном же взрослые заняты тем, что запрещают друг другу и детям езде-лазить.)

Простор структурирован как «мелкоячеистая сетка» (Б. Поршнева) или множество «особых точек» (Ж. Симондон) в земном пространстве. Эти «особые точки» — такие как гора, низина, луг в лесу, валун в поле, большое старое дерево... — первичным образом упорядочивали географический мир для «доцивилизованного», «первобытного» человека. Обобщая это протогеографическое понятие, метарусские говорят об *интенсивных местах*, то есть таких местах, которые определяются не *протяженностью* (экстенсивностью), а напряженностью (интенсивностью). Свобода как простор реализуется через нестесненную навигацию между интенсивными местами (которыми могут быть и места воображаемые, то есть находящиеся вне зоны физической досягаемости, например, Царствие небесное, Аркадия или Шангри-Ла). В целях такой навигации метарусские создают и используют *контроллеры воздуха* — сверхскоростные средства сообщения между интенсивными местами (см. у Р. Михайлова в «Равинагаре»: «Контроль воздуха, а не безумие. Не безумец, не наслаждающийся реками, а тот, кто контролирует воздух»).

Природа контроллеров воздуха загадочна и для дометарусских до конца не постижима... По одной версии, их функционирование основывается на реабилитированной в XXI веке теории физического эфира (отсюда самоназвание некоторых метарусских — *аэрусские* и *эфирусские*). Эта реабилитация была возвратом, в частности, к теориям Д. И. Менделеева,

поместившего эфир в своей таблице периодических элементов на место в нулевой группе и в нулевом ряде (факт из истории науки, который обычно не афишируется). Использование эфирного ветра и эфирных ротационных вихрей якобы позволяло свободно перемещаться между интенсивными местами.

По другой версии, контроллеры воздуха основываются не на физических, а на психических механизмах. Внимание, будучи, по Августину, «следом» Бога-Духа в сотворенном мире, само подобно воздушной среде, «дыханию». И, как и Бог-Дух, внимание для метарусских ничем не скованно, абсолютно свободно, «веет, где хочет» — в связи с чем говорят об *анархии внимания* (или *анархии воздуха*). Навигация между интенсивными местами становится возможной благодаря свободному перенаправлению и переключению внимания (метарусские тоже веют, где хотят). При этом анархия означает здесь, как и во всех случаях, не какую-то отвлеченную свободу, она всегда соотносится с конкретной действительностью, которой в данном случае является *воздух Метароссии*, имеющий собственный ритм сгущения и разрежения.

Юмор и уязвимость (анархомонархия)

Что такое Метароссия с точки зрения политической науки? Метароссия есть попытка создать такую политическую теорию, которая основывалась бы на юморе. Политика не допускает в себя юмор: борьба за власть слишком серьезна, борющимся за власть не до смеха. Юмор существует в политике лишь как средство достижения власти (например, он может использоваться в речах политиков с целью завоевать симпатию публики

или в спецоперациях по дискредитации политических оппонентов). Под словосочетанием «политический юмор» обычно понимается юмор, направленный на политику, но не юмор как часть политики. Поэтому политика всегда окружена юмором, как дворец султана — толпами нищих: чем труднее попасть во дворец, тем больше эти толпы. Свифт писал свои знаменитые памфлеты, чтобы повлиять на политику «извне»; в Метароссии же его памфлеты, вроде «Скромного предложения», могли бы иметь силу закона (если бы в Метароссии, конечно, были законы).

Каким образом возможно это невозможное присутствие юмора в политике? Благодаря фигуре *анархомонарха* (мы настаиваем на слитном написании этого слова: анархия и монархия нераздельны, между ними не должно быть дефиса). Анархомонарх — это такой политик, который занимает «святое место» власти *только и только* для того, чтобы это место больше никто не занимал (зачем стоять именно на этом месте, если есть множество других мест, если есть *простор*?). Подхватывая аналогию теолога Д. Б. Харта, это примерно как король в шахматах, который почти ни на что больше не способен, кроме как быть уязвимым для противника, но в этой своей уязвимости запускающий и организующий всю игру, — только слабее, бесконечно слабее. Не абсолютная власть является главным преимуществом анархомонарха перед всеми остальными (а его власть абсолютна), а его *абсолютная уязвимость*. (Абсолютная уязвимость власти — это более сильная гарантия свободы, чем ее сменяемость.) А есть ли для политика уязвимость большая, чем *ненаказуемая, безответственная* открытость для тотального высмеивания? Разве юмор не является тем способом, которым хакеры политической системы во все времена

детектировали уязвимости в ней и заставляли ее как-то меняться? Неуязвимая политическая «система» есть, таким образом, «система», построенная на уязвимостях, машина, работающая поломками.

Традиция русского анархизма (Бакунин, Кропоткин) всегда мыслила себя как третий, срединный путь — «линия шмыганья» между Сциллой консерватизма и Харибдой либерализма (если у России и был какой-то «особый путь», то только этот). Полемизируя с традицией анархизма и развивая ее, Э. Юнгер ввел понятие «анарха»: «Анарх относится к анархисту так, как монарх относится к монархисту» («Эвмесвиль»). Делёз употреблял выражение «коронованная анархия» (заимствуя его из романа Арто «Гелиогабал, или Коронованный Анархист») для обозначения парадоксальной диалектики единого и безначального. Контаминируя Юнгера, Арто и Делёза, можно сказать, что коронованный анарх (анархомонарх) относится к коронованному анархисту так же, как монарх относится к монархисту. Анархомонарх — это и король, и шут, это джокер-законодатель, это полностью осознавший себя «бешеный принтер»: дело в том, что этот принтер всегда был бешеным!

Однако роль юмора не только в том, чтобы парадоксально ограничивать власть политиков (как показывает пример западных демократий, свобода вообще не дается одним только ограничением власти). Что не менее важно, через юмор — и только через юмор — происходит соединение друг с другом «больших подданных» анархомонарха. Банальная истина состоит в том, что помимо юмора ничего другого, объединяющего индивидов поверх их всевозможных различий, не существует (поговорите с богатыми и бедными, белыми и черными, мусульманами и буддистами, праведниками

и грешниками, гениями и идиотами: каждый из них как-то да понимает язык юмора). Как писал Л. Фейербах, если практическим медиатором «между высоким и низким, абстрактным и конкретным, всеобщим и особенным» является любовь, то теоретическим — юмор: «Сама любовь — это юмор, а юмор — любовь». В анархомонархе эти два измерения медиации — практический и теоретический — совпадают: его любовь к своим «большим подданным» — это их юмор по отношению к нему, его юмор по отношению к «большим подданным» — это их любовь к нему.

Святая Коррупция

Святая Коррупция (СК) — особый орган Метароссии, который занимается разложением государственно-капиталистических структур. Всякий, кто жил в России, знает, что свободно дышать там можно было только благодаря тотальной коррумпированности чиновников, тогда как успешная борьба с коррупцией в странах Запада и Востока (и либеральных, и авторитарных), как известно, приводила лишь к увеличению излишней, ненужной регуляции индивидуальной и коллективной жизни. В Метароссии коррупция служит *гарантией неотменности простора*. Сам термин «коррупция» — буквально означающий «порчу» — понимается метарусскими как порча того, что уже и так неисправимо испорчено и должно быть поэтому сожжено. Доблестные сотрудники СК, среди которых много бывших орторусских пиromanов, на своем профессиональном жаргоне называют коррупцию «дожигом».

Поломки и молитвы

Запад страшится Большой Поломки и живет тщетной надеждой на то, что ее можно исправить каждодневными Малыми Починками. Россия не боится Большой Поломки и не верит в Малые Починки, зато она одержима Поломками Малыми и живет напрасным ожиданием Починки Большой, которая должна всё исправить. Таков технотеологический хиазм этих двух культур.

Но как вообще сложилось это разделение технотеологических установок — страх Большой Поломки на Западе и одержимость Малыми Поломками в России? Западная церковь всегда страдала людские множества образом Сатаны. Сатана — одно из мифологических имен Большой Поломки. Людские множества на Западе в итоге успешно интериоризировали религиозный страх Сатаны и теперь называют его «воспитанностью», «законопослушностью», «цивилизованностью». Тех же, кто этого страха лишен, они полагают «варварами», «разбойниками», «правовыми нигилистами» и пр. Видеть в более «анархичных» христианских культурах иную антропологическую конфигурацию они упрямо не хотят.

Откуда в восточно-христианских культурах фиксация на Малых Поломках? Известно (С. А. Иванов), что византийская иконография почти не знает образов Сатаны, подобных западным, — супостат Бога там не величествен и един, а мелок и множествен: это так называемые бесы. Бесы — одно из мифологических имен Малых Поломок. В России всё постоянно ломается (или, по крайней мере, культура внушает такое впечатление, поскольку на самом деле в среднем всё везде ломается примерно с одинаковой регулярностью), и российским людским множествам приходится магически взаимодействовать с этой «хуйней» (другое

мифологическое имя для Малых Поломок). «Хуйня» — одержимость вещей и людей бесами — кажется им вечной, не устранимой никакими Малыми Починками, поэтому остается лишь уповать на Починку Большую (Бога, вождя, чудо...).

Различие в образах «лукавого» на Западе и в России должно иметь под собой, помимо теологических, еще и чисто технические основания. Одно из них — различия в технике молитвы. Молитва — образцовая техническая операция: говорение, понятое как техника звукоизвлечения — «внешнего» или «внутреннего» (так — *технически* — понимал практику молитвы П. Флоренский). Говорению все обучаются в детстве, поэтому во взрослом возрасте оно кажется чем-то данным и не воспринимается как особая техника, которой нужно овладевать. Свою техничность говорение выявляет только в случае полумок, типа заикания или дислексии, которыми занимается логопедия. Однако говорение — это не только техника произношения, это также вся анатомо-физиологическая машинерия речевого аппарата, начиная с диафрагмы и заканчивая губами. Как губы и язык вырезают из потока колеблющегося воздуха звуковые фигуры (субтрактивный синтез звука), так и молитва, будучи особой техникой, имеющей дело с «потусторонним» (=принципиально нематериальным, нетехническим), вырезает определенные технические фигуры на религиозном фоне, то есть порождает определенные религиозно-технические гештальты, или технотеологические установки.

Специфической для Востока молитвенной практикой является непрерывное «творение Иисусовой молитвы». Специфически западная молитва (например, богородичные антифоны, заканчивающиеся словами «Божественное вспоможение да пребудет всегда с нами») — это всегда так или иначе «большая

просьба» отратить нежелательное будущее, то есть Большую Поломку, — просьба, которая тем самым рекуррентно «увековечивает» реальность Большой Поломки (что означает: молитва, будучи изначально средством сопротивления этой реальности, вследствие «кибернетической петли» становится средством ее поддержания). Иисусова молитва — в силу ее краткости, повторяемости и обращенности на настоящее — скорее рассеивает страх неизвестности, не концентрирует его в акте моления (чтобы затем снять его), а равномерно распределяет по времени повседневности. Можно сказать, что Иисусова молитва *дробит* Сатану (Большую Поломку) на множество бесов (Малых Поломок). Такая рассеивающая, дробящая монотеистическая техника и ее немонотеистические функциональные эквиваленты («матерная ругань», в которой осел культ Матери—Сырой Земли) в свою очередь рекуррентно «увековечивают» реальность Поломок Малых.

Метароссия — это вирофаг

Вирусы, как известно, были открыты русскими (Д. И. Ивановский). В конце 2000-х гг. в парижской градишне нашли первый вирус, способный паразитировать на других вирусах, — вирофаг, своего рода метавирус; он получил название «Спутник» (*Sputnik*). Этому событию предшествовало обнаружение в океаническом метатоме вирусов-гигантов. Вирофаги инсталлируют себя в фабрики вирусов-гигантов и используют их производственные мощности для собственной транскрипции и репликации. Ряд подобных открытий подтолкнул микробиолога Е. Кунина к созданию концепции *вироцентризма*, согласно которой вирусы составляют отдельную «империю», наряду с «клеточной империей», и являются глав-

ной экспериментальной лабораторией эволюции.

Открытие вирусов-гигантов аналогично «открытию» метарассказов. Всякий рассказ — это миф, а миф — это вирус. Но есть и «большие рассказы», метарассказы — как бы гигантские вирусы: научные, политические, религиозные... США и СССР были подобны империи клеточной и империи вирусной, причем оба государства являлись и паразитом, и хостом друг для друга: США заражали СССР поп-культурой, а СССР заражал США левыми идеями. Нужно сказать, и то, и то инфицирование прошло успешно, только СССР оказался менее резистентен к поп-культурной «заразе», а в США левая «болезнь» растянулась на десятилетия и достигла своего пика совсем недавно...

Метароссия — это не просто вирус, это вирофаг. Изобретение Метароссии аналогично открытию «Спутника»: вызывая завихрения смысла в «больших рассказах», она тормозит их и разлагает. Таков следующий этап эволюции политической мифологии: не отказ от метарассказов, а паразитирование на них — инсталляция вирусных фабрик в политические и религиозные клетки и транспорт полезных веществ. Превращение государственного Левиафана в Вирофана — государство-вирус — лишь актуализировало эту задачу. Метарусские всегда были политическими вироцентристами.

День Метароссии (метасимуляторы Курёхина)

День Метароссии отмечается каждое 16 июня, в день рождения музыканта Сергея Курёхина. Его можно назвать главным специалистом по «мета-», изобретателем метасимуляторов простора. Метароссия также является метасимулятором простора.

Метасимуляция — это симуляция симуляции. Метасимуляция как прием лежит в основе всех известных «выходок» Капитана. Скажем, в телепередаче «Пятое колесо», где был озвучен знаменитый тезис «Ленин — гриб», на поверхности симулируется научное исследование жизни Ленина, но на самом деле это симуляция симуляции симуляции — симулируемый ученый создает симуляцию Ленина, который является симуляцией гриба... Другой пример — радиопередача на «Би-би-си», где Курёхин «признавался», что многие годы работал американским шпионом, но при этом «симулировал» жизнь простого советского человека. Ведущие передачи наивно сочли этот рассказ симуляцией шпиона, тогда как на самом деле Курёхин симулировал не шпиона, а героя песни Высоцкого «Пародия на плохой детектив», которую он воспроизвел в эфире буквально строчка за строчкой. Ведущие, разумеется, прекрасно знали эту песню («А потом про этот случай растрелят по Би-би-си»), но они ничего не поняли, поскольку им просто не пришло в голову, что это могла быть симуляция «второго порядка».

Симуляция — это парадоксальная возможность отождествления в мире, где больше нет тождеств, где все отождествления являются симуляциями тождеств. Поэтому в метасимуляторах нет никакой «поверхности» или никакого «на самом деле»: количество уровней «мета-» бесконечно, есть только случайные входы в эту структуру и выходы из нее. Это бесконечная пористость или рассеянность, а переходы между уровнями ограничены только внешними условиями. Если бы передача про «Ленин — гриб» была многосерийной, цепочка гомологических превращений не прерывалась бы: в конце передачи Ленин уже рассеивается, расслаивается на гриб и радиоволну, то есть возникает развилка и демонстрируется тизер «следующей серии».

Это же относится к музыкальным практикам

Курёхина. Легко спутать его музыкальный метод с так называемой полистилистикой — коллажем из разных стилей. Если прислушаться, эта музыка устроена иначе: в ней воспроизводится какая-то существующая музыкальная мысль или стилистический паттерн, но всегда как бы с другого уровня, с метауровня. Это хорошо заметно в его ранних фортепианных записях: там не просто склейки каких-то стилей, а взгляд на тот или иной «звук» сквозь призму «как если бы» (которая и есть основной принцип симуляции) — *как если бы* джазмен играл классическую фортепианную музыку, *как если бы* классический музыкант играл современную академическую музыку и т.д. Курёхин концентрирует этот эффект, создает напряжение, а затем переходит к другому уровню, как бы говоря: все, что до того звучало, звучало отсюда, с этого уровня, — и так до бесконечности.

16 июня, в День Метароссии, также отмечается *Bloomsday* — гуляние по Дублину в память о романе Дж. Джойса «Улисс». Метарусские солидаризируются с ирландцами и с метаирландцами в их борьбе за независимость (за метасоветский Лимерик!). Кроме того, поздний Джойс уже писал на метарусском языке.

Депрессивное сопротивление

Депрессия есть важнейшая часть господствующей сегодня, то есть метазастойной, политики настроения. Ее массовое распространение к концу XX века связывают с отсутствием коллективного «образа будущего», с «концом утопий», с репрессиями воображения, а также с той работой государства и капитализма, которая направлена на укрепление людей в мысли, что текущий порядок неизменен, а любые «утопические фантазии» приносят один вред (М. Фишер). Поскольку депрессия —

это «объективная» психополитическая реальность, от нее нельзя полностью избавиться одним только «усилием воли» или медикаментозными средствами: требуются также изменения в политической системе. Настоящая политическая революция всегда есть революция настроения, не столько радикальная «перестройка», сколько радикальная *перенастройка*.

Можно сказать, что депрессия — это особая фаза политической борьбы в условиях позднего капитализма. Фаза понимается здесь в термодинамическом смысле: политическая борьба есть особое вещество, состоящее из нескольких фаз; депрессия — наиболее стабильная фаза, поэтому она — в своей феноменальной данности — никогда не прекращается (по крайней мере, пока победа в борьбе не одержана, то есть пока психополитические условия не изменились): это холст, поверх которого пишутся все наши каждодневные переживания. (Хайдеггер сказал бы, что депрессия онтологична, — она пришла сегодня на смену «глубинной скуке», которая играла роль такого «холста» для опыта в начале прошлого века.)

Наиболее распространенный вид сопротивления метазастью — *депрессивное сопротивление* (яркий пример этой стратегии в российской культуре — творчество Е. Летова). Про положительный эффект депрессии часто забывают: депрессия в известном смысле экономит силы и оберегает от лишних неприятностей. Депрессивный субъект — этот тот, кто, феноменологически говоря, не выходит из комнаты, а источник всех несчастий человека, как писал Паскаль, в неспособности (неумении) оставаться в своей комнате. Хотя для капиталистического государства психополитическая функция депрессии, по всей видимости, и состоит в том, чтобы ограждать «народ» от попыток «устроить революцию», однако в будущем

(ретроспективно) может стать и так, что депрессивные субъекты просто-напросто берегли себя для этой самой революции, подобно солдатам, зачисленным в запас, или труженикам тыла в период войны. Это «депрессивный резерв» будущей психополитической революции.

Стратегию депрессивного сопротивления не следует путать с чрезвычайно популярной стратегией *депрессантного* сопротивления, ассоциирующейся с культурой употребления алкоголя («водка — это и есть настоящее политическое сопротивление»), как писал один дOMETARОССИЙСКИЙ аПОЛОГЕТ этой стратегии). Алкоголь — психохимически классифицируемый как депрессант, — конечно, может выступать (и де-факто выступает) как протест против «несовершенства мира», но из-за особенностей его фармакодинамики он способен лишь поставить миру государственного капитализма ограничительный барьер, не позволять этому миру захватить и подчинить индивида целиком. Депрессантное сопротивление до конца не признает депрессии, оно откладывает мысль о ней — как мысль о похмелье или мысль о том, чтобы бросить пить, — на «последний стакан». По сути, это гипоманиакальный полюс биполярного расстройства.

К этому полюсу принадлежит еще одна психополитическая стратегия — менее популярная, но такая же консервативная по духу, что и депрессантное сопротивление. Она заключается в попытке игровой имитации шизофренического расстройства, которая внешне производит впечатление то ли мании, то ли депрессии. Известно, что до своего самоубийства М. Фишер работал над книгой «Кислотный коммунизм» (*Acid Communism*), — под этим словосочетанием, судя по записям его выступлений, подразумевалась способность «психоделического сознания» интерпретировать мир как политически пластичный и изменяемый в противовес интерпретации мира как политически неизменяемого и

застывшего — интерпретации, навязываемой «капиталистическим реализмом». Тогда эту третью стратегию мы назвали бы «кислотным путинизмом». Это своего рода перверсия «кислотного коммунизма»: она маниакально жаждет представить дело так, будто изменение возможно и даже реально происходит (то есть как если бы шизофреническое сопротивление достигло своей цели), хотя на самом деле ничего не движется, а есть лишь вечный метазастой, лишь дрящущая коррупция сердца, лишь сердечное окаменение Левиафана, искусственно поддерживаемого тактическими политехнологическими ходами и препаратами для биорегенерации. Особенно широко эта стратегия сопротивления распространена в сети — в коллективных блогах, пабликах и анонимных каналах с мемами, «андеграундном» хип-хопе...

Однако депрессивное сопротивление всё же не оптимально, поскольку оно вовлекает субъекта в бесконечное колебательное движение между манией и депрессией. Это колебательное движение наилучшим образом выражено в поп-музыке, которая фактически является овнешненным, спроецированным в общество биполярным аффективным расстройством. Так, гипоманиакальное настроение «золотого века» вокальной поп-музыки (конец 1950-х — 1960-е) сменилось тревожностью психоделического рока и краут-рока (конец 1960-х — начало 1970-х), последняя — жизнерадостностью диско (вторая половина 1970-х — первая половина 1980-х), затем пришла иступленность детройтского техно, тоска «новой волны» и отчаяние гранжа (вторая половина 1980-х — начало 1990-х), а те сменились легкостью брит-попа и беззаботностью данс-попа (середина–конец 1990-х), и т.д. Этот психопатологический спектр — расстройства настроения (в которые включены, согласно МКБ-10, различные вариации мании и депрессии) — затронут в

связи с музыкой неслучайно: поп-музыка есть, пожалуй, наиболее непосредственное выражение настроения, свойственного той или иной эпохе. Низкие требования по части овладения средствами музыкального производства и короткий производственный цикл (скажем, в импровизации зазор между производством и сбытом отсутствует) делают поп-музыкантов самыми «быстрыми» и «простодушными» регистраторами настроения.

(Маятниковое развитие поп-музыки во многом обусловлено тем, что она зиждется на мажоро-минорном ладе. Поэтому в Метароссии двенадцатиступенный звукоряд и ладогармоническая система официально запрещены — с целью отвязать звуковой континуум от теологических (пифагорейская арифметика) и астрономических (символическая связь нот с планетами Солнечной системы) «рифлений», дать звуку космическую свободу, сделать его просторным. Официально разрешена к сочинению только микротоновая музыка.)

Наиболее эффективным видом сопротивления метазастою является *шизофреническое сопротивление*. Депрессия традиционно противопоставляется шизофрении: психиатр Э. Крепелин развел все психопатологии по двум полюсам — маниакально-депрессивному и шизофреническому (так называемая «крепелиновская дихотомия»). В музыке шизофреническое сопротивление выражено, например, в саунд-арте, абстрактном нойзе, различных трудноклассифицируемых экспериментах (типа «Детского альбома» Курёхина)...

Чего фундаментально недостает современному депрессивному субъекту, так это *надежды*. В начале 1960-х надежда еще была: поп-музыка этого периода была высшим выражением надежды, которое

возможно при позднем капитализме. Надежда есть настаивание на том, что всё «еще-не» (не сложилось, не остановилось, не завершилось...), говоря словами Э. Блоха. Для депрессивного субъекта это утопическое «еще-не» закрыто, невообразимо. Разомкнуть надежду в современных психополитических условиях может только определенная шизофренизация субъекта. Уже не с психиатрической, а с психополитической точки зрения, шизофрения (понятая не клинически, а «онтологически») означает то самое (пере)производство утопий (или антиутопий) и стремление к «еще-не», которые зачастую «успешно» выводят субъекта за границы социальной адаптированности (то есть адаптированности к условиям, навязанным государственным капитализмом). Если адаптация к обществу полностью не нарушена, можно говорить о стратегии шизофренического сопротивления. Линия избавления от депрессии лежит в этом случае не через достижение мифической «нормальности», а через преодоление одного психического комплекса другим, политически более «перспективным».

В Метароссии сопротивляются не депрессивно, а шизофренически. В этом сказывается влияние на метарусских шизоаналитического проекта Делёза—Гваттари. Однако метарусским неловко лишний раз тревожить этих мертвых галльских мужиков. Только представьте: Делёз идет по чистилищу, — которое, вероятно, похоже для него на лоуренсовскую пустыню, — хочет уже куда-то прийти, а к нему с неба летят голоса, и все что-то выспрашивают, чего-то требуют... Метарусские ничего от него не требуют, не критикуют, но и не забывают. Они только расставляют для него по чистилищу таблички, указывающие путь к Метароссии. И ждут, ждут его.

Мета- — это новое *шизо-*.

Дети и капитал

В Метароссии дети имеют свободный доступ к капиталу. Ведь то, что взрослые называют «осуществлением заветной мечты», — это чаще всего то, что они мечтали сделать, когда были детьми, но еще не имели доступа к капиталу. Порочный круг состоит в том, что во взрослом состоянии эта мечта, точнее, воспоминание о ней, блокируется той же капиталистической машиной.

Почему детям, как правило, отказано в этом доступе? Почему они имеют частичный доступ к знаниям на уровне государственных институтов, но им лично не выплачиваются пенсии или дотации? Потому что, ответят нам, дети не могут быть субъектами рационального хозяйствования. Но экономическая антропология демонстрирует лицемерность этого довода. Детское непостоянство, с одной стороны, и упрямство, с другой, являются зеркалом иррационального экономического поведения взрослых.

Было бы правильно воплотить в жизнь лозунг «Капитал — детям!». Каждый ребенок должен на какое-то время получать неограниченный доступ к потокам капитала. Стратегии хозяйствования, распространенные среди детей, будут воздействовать на взрослых педагогически (если можно так назвать воспитание взрослых детьми) и, как ни странно, рационализировать и в известном смысле «гуманизировать» их поведение. Первой педэкономической стратегией предположительно будет гротескный потlach («миллион красных машинок», «два миллиона кукол барби»): он не только поспособствует упразднению излишков капитала,

причем без сопутствующих болезненных социальных эффектов, но также, выступив карикатурой, умерит аналогичные желания взрослых. Вторая возможная стратегия — антоним потлача (у которого пока что нет адекватного названия): не рациональный выбор с оглядкой на структуру потребления и не безрассудная символическая трата, а простое и точное удовлетворение насущного желания. Для взрослых такое поведение, вероятно, будет наиболее скандальным, отрезвляющим и поучительным: «у него был миллион долларов, но он приобрел себе пригоршню черешни». Эта стратегия близка к тому, что Юнгер назвал *désinvolture*, «невинностью власти»: «На праздничном столе, окруженном множеством гостей, выставлено на всеобщее обозрение золотое яблоко, к которому никто не осмеливается прикоснуться. Каждый томится нестерпимым желанием присвоить его себе, но чувствует, что стоит ему только протянуть руку, как начнется жуткий беспорядок. Тут в залу входит дитя и спокойно берёт яблоко — это вызывает у всех гостей глубокое радостное одобрение» («Сердце искателя приключений»). Таким образом будут распутываться узлы экономических претензий и смягчаться конкурентная атмосфера. Всё, что находится между этими крайними стратегиями, скорее всего будет продиктовано нездоровым подражанием взрослым.

Впрочем, воплощение в жизнь этого лозунга имеет одно пока что невыполненное условие — ликвидацию института частной собственности — и одно непрогнозируемое следствие: смешная и серьезная экономическая война детей.

Разъединение и изоляция: власть Вирофана

Изоляция — очередная победа правого воображения. Нас опять разъединили не так и пересоединили не так. Ограничив в перемещении по открытым пространствам, у нас отняли оптический объем и сенсомоторное разнообразие, таящие в себе потенции интересных разделений, и заставили еще интенсивнее слипаться в бесформенные сгустки, на этот раз полностью спроецированные в плоскость цветных экранов.

Кто или что разъединило нас в конечном счете? Вирус? Государство? Правильный ответ — *Вирофан* (Virothan): государство-вирус или вирусное государство. Левиафан всегда был главным соединителем и разъединителем человеческих множеств. В эпоху сетей, то есть относительно свободных соединений, Левиафан столкнулся с конкурирующими моделями соединения, основанными на чистых рыночных отношениях, на чистом интересе или на чистой солидарности, и чтобы не обнаружить свою фактическую ненужность, он был вынужден перепродумать свою способность к соединению и разделению. Найденным решением стало «натурфилософское», бионическое — подражание природной форме вируса, которая уже тогда служила метафорическим образцом для маркетинговых стратегий. Левиафан буквально соединил себя с вирусом, теперь они едины и распространяются с одинаковой скоростью: там, где вирус, там и государство, и там, где государство, там и вирус. Государство как будто само паразитирует на биологических вирусах. Но между ними скорее отношения комменсализма: вирус являет собой глубокую диалектику соединения и разделения, то есть инфицирования и карантинизации, и теперь государство,

ставшее вирусным, может обосновывать свои соединения и разделения отсылками к этой природной диалектике.

Могут возразить, что это вовсе не государственная машина управляет вирусной репликацией... Не смешивается ли в этом рассуждении два порядка — общественный и природный? Дело в том, что эти порядки были смешаны с самого начала: как мы однажды убедимся, именно государство было ответственно если не за синтез вируса, то за его утечку из лаборатории. И оно же сразу воспользовалось этой ситуацией для самопереизобретения. Однако на нынешнем этапе исток этой ситуации важен разве что для предстоящего высшего суда над государством, то есть над всеми государствами, когда-либо существовавшими в истории. Анархисты не увидели в этой ситуации ничего принципиально нового: государство, как и дьявол, всегда обманывает. Обычный человек знает об этом не хуже анархиста (и становится анархистом, как только разделяет это знание с другими). Интересным тут, пожалуй, является только то, что, взяв для этой авантюры себе в союзники научное знание, государство рискует — возможно, впервые в истории — обнажить ложь самой науки, дискредитировать ее. Ведь наука тоже обманывает — всегда, когда соработничает с государством, то есть на протяжении почти всей своей истории (мы называем это эпохой несвободной науки).

В свете этого диагноза нас ждет коррозия науки, падение ее авторитета, а также, быть может, ее последующее высвобождение из-под лап Левиафана и образование другой, свободной науки. Но пока наука падает, государство будет продолжать за нее цепляться, изобретая новые способы самолегитимации. Так, не исключено, что в будущем, потерпев провал в авантюре с вирусом, государство прибегнет к квазинаучным — то есть всё еще в какой-то степени научным — рассказам для осуществления контроля над множествами, типа угрозы

инопланетного вторжения. С инопланетчиками всё будет так же неопределенно, как и с вирусом: что-то есть, а вроде и нету, кто-то умер, но до конца непонятно от чего, есть какие-то цифры, графики, мнения, но все они друг другу противоречат. Прием у Левиафана всегда один и тот же: вселить страх неопределенности и предложить «крышу».

Что нам нужно делать сегодня? Изобретать вирофаги для Вирофана.

«Метарусские линии» (игра)

«Метарусские линии» — семейная игра, иллюстрирующая принципы построения Метароссии.

Цель игры: нужно за один ход образовать линию из трех или более предметов условно одного цвета (красный, зеленый, синий...), переместив всего один предмет (из любого места в любое). Предметы могут находиться в разных частях видимого пространства, между ними могут быть другие предметы, а линия может быть параллельной, диагональной или перпендикулярной к полу, но должна быть прямой (в некоторых версиях допускаются ломаные и кривые, например, Г-образные и параболические линии). Больше одного раза использовать два и более предметов, уже составленных в одну линию, нельзя. За каждые три выстроившихся в линию предмета начисляется одно очко, за каждый дополнительный предмет в линии — еще по одному очку (5 предметов = 3 очка); играют обычно, пока не надоест или пока не исчерпаются все доступные предметы и/или их комбинации.

Как цветные линии в этой игре, Метароссия выстраивается поверх и промеж уже существующего

порядка вещей: при добавлении всего одной вещи создается новый порядок. Нет необходимости в революциях или даже в реформах, в том, чтобы начинать всё с чистого листа. Вообще не нужно никакое начало, *архэ*: мы словно всегда находимся в середине фильма, как герои «Лиц» метаамериканского режиссера Дж. Кассаветеса. Всё уже дано здесь и сейчас, достаточно увидеть иную, скрытую структуру в уже существующем.

Могут спросить: зачем вообще перемещать какой-то предмет, если можно просто увидеть иной порядок вещей и указать на него? Это нужно прежде всего, чтобы подать пример другим, продемонстрировать возможность самостоятельного расширения скрытых дотоле структур: мол, созерцайте, но не ждите, действуйте! Так, интересно, когда искусственные нейросети находят какой-то неочевидный паттерн в вещах, но еще интересней, когда они продолжают этот скрытый паттерн в новых изобретениях.

Игра «Метарусские линии» в определенном смысле обратна игре в пятнашки, хорошо иллюстрировавшей идеи «первого» структурализма: там возможность движения основывалась на структурной нехватке, незаполненности, зиянии. А в «Линиях» всегда присутствует возможность структурного избытка. При увеличении масштаба — например, при игре не в комнате, а на городе — одноцветные предметы, выстроенные в линию, будут умножаться без ограничений. Но есть ограничения, накладываемые существующим порядком вещей: Метароссия — это не теоретическая фантазия, она, как и любая анархия, основывается на конкретной реальности.

Могут также сказать, что из этого конкретного порядка вещей и не выйти, он всегда будет относительно неизменяемым: для выхода как раз и нужны революции или реформы (переставить красную вазу в комнате —

еще не значит изменить мир). В этом смысле Метароссия хоть и анархическая игра, однако всё еще метазастойная — она нуждается в статике, в *stato*. Но когда всё придет в движение, эта игра станет еще более актуальной. Возможно, какие-то предметы из спонтанно образовавшихся линий придется, наоборот, изымать — тогда критериями выигрыша станет красота и разнообразие линий, их экономичность и завершенность.

Безгосударственное чтение (метарусская наука)

Как читать тексты, отсылающие к реальности, когда никто не может утверждать наверняка, достоверны ли они? Когда отсутствует инстанция удостоверения, роль которой начиная с Нового времени играет наука? Когда нет государства, которое всегда в конечном счете принимало решение, какую науку поддержать, а какую предать забвению? Такими вопросами задаются метарусские, пытаясь мыслить наперед. Отчасти мы уже сейчас имеем дело с подобной эпистемологической растерянностью и когнитивной дезориентацией, но в будущем нас может ожидать полное крушение складывавшейся в последние века системы навигации по реальности.

Наука не демократична, она изолирована от общества. Сегодня не человеческие множества, а бюрократическое государство и капитал решают, какой науке развиваться, какую науку преподавать в школах и т.д. Уже Кропоткин предостерегал: «Пока ученые будут зависеть от богатых людей и от правительств, их наука будет неизбежно носить известный отпечаток и они смогут всегда задерживать развитие знаний, как они это сделали в первой половине XIX в.»

(«Современная наука и анархия»). Государству, конечно, подсказывает «независимое экспертное сообщество», однако и последнее так или иначе зависит от решений университетских менеджеров и от государственного финансирования. К тому же, это сообщество, как правило, состоит из тех же чиновников («по духу») — ученых, перенявших логику и габитус чиновников. Национальное государство и современная наука созависимы: они формируются в одно время и по схожим бюрократическим принципам (тезис о коформации науки и государства). Можно также утверждать, что наука производит и поставляет бюрократическому государству определенные представления о мире, подобные тем, что раньше производились церковью и поставлялись феодальному государству, — то есть идеологию. П. Фейерабенд писал, что «наука является одной из множества идеологий и ее следует отделить от государства так, как ныне отделена Церковь» и что «сегодня наука господствует не благодаря своим достоинствами, а благодаря жульнической рекламе» («Наука в свободном обществе»). Возможно, наука есть «кощеево яйцо» национального государства: выньте науку — и национальное государство как институция посыплется.

Что бы там ни посыпалось первым, — государство или наука, — необходимо смоделировать ситуацию «после науки» и «после государства», написать сценарий того, как будет развиваться знание в этих условиях. Мы говорим именно о *безгосударственном* чтении потому, что даже «после науки» наука как исследовательская деятельность никуда не денется: она может трансформироваться в «свободную науку», в «свободное исследование» и продолжать определять наши способы чтения; в то же время сложно вообразить какое-то «свободное государство» после «конца государства».

Несмотря на радикальную и точную критику научно-государственной институции, Фейерабенд почему-то не предложил сценариев развития безгосударственной науки; мы начнем с того места, где он остановился.

Назовем ситуацию в «самые первые дни» после конца науки *майданом знаний* или *взрывом чтения*: все читают и познают всё как угодно. Что происходит на этом майдане знаний? Заговорили все ранее молчавшие и обезмолвленные, все получили голос в одном хоре с «экспертами». Нет разделения на науки и «лженауки» (паранауки), потому что некому определять границу между ними, устанавливать демаркации. (Точнее, есть много способов определять эту границу, и за каждым из них стоит какая-то теория демаркации или ремаркации, которая находится в общем поле со всеми остальными теориями и метатеориями.) На этом майдане мы, например, видим всё когда-либо существовавшие модели Земли: геоцентрическая, гелиоцентрическая, гелио-геоцентрическая (Т. Браге), модель полой Земли, модель полой вогнутой Земли, модель плоской Земли, причем последняя включает в себя круглую плоскую-плоскую (вавилонско-семитскую), квадратную плоскую (китайскую), круглую плоскую-чашеобразную (О. Фергюсон) и пр. Все эти модели снова ставятся под вопрос, подвергаются ревизии и конкурируют друг с другом. Понятно, что это заостренно-драматический образ (абсолютного плюрализма никогда не бывает) и что долго такая ситуация не продлится — появятся какие-то новые акторы, микрогосударства и микронауки, и в самом неинтересном случае всё снова свернется к унифицированным представлениям (научная революция).

Всевозможные государственники и сторонники идеологии Просвещения («от науки» или просто «любители») скажут нам, что это будет не «хор»,

а «какофония», «шум». (Заметим, что обращение к музыкальным аналогиям уже не на руку этим критикам: бывает и «гармоничный» «шум», то есть нойз; да и хорошая «какофония» лучше плохого «хора».) Поэтому первое, что необходимо сделать, это развенчать этот миф — что якобы «после науки» начнется хаос. Как государство всегда пугает, что без него начнется хаос, «война всех против всех», так и «просветители» пугают, что без научного метода и научных институций всё погрузится во «тьму». Это миф, сознательно культивируемый и поддерживаемый: от него зависит благополучие и процветание ученых, чиновников и «просветителей». Но, как мы знаем из антропологических исследований, без государства человек прекрасно справлялся со своей жизнью (а кое-где справляется и по сей день); так же и без науки человек как-то выживал тысячи лет, даже одомашнил животных, изобрел колесо и севооборот, оставил образцы классического искусства и т.п.

Как же будет устроен этот майдан знаний? Ответ Фейерабенда — *анархически*: это будет анархия знания. Но анархия всегда конкретна, это не теория, а способы действия в условиях «безначальности». Поэтому мы бы немного переформулировали вопрос: как *нам* устроиться на этом майдане науки? В самом деле, если раньше наукой занималось государство и специальные институции, то теперь наукой нужно будет заниматься *нам*: не будет никакой науки без *нас*, без нашего участия, потому что больше ей заниматься будет попросту некому. Фокус внимания, таким образом, смещается на проблему *ориентации* на этой новой «безначальной» территории.

Для ориентации в знании нам нужны *карты знания*. Нужно уметь картографировать знания, то есть прикладывать к знанию имеющиеся карты, а также придумывать новые. Наука без государства — это уже не одна-единственная Наука против множества псевдо- и паранаук, а

война всех наук и паранаук против всех наук и паранаук. И эта война отнюдь не атомизированна (это не ситуация, когда «каждый сам за себя»): быстро образуются новые союзы, новые альянсы, а прежние союзы или оппозиции распадутся или взаимоуничтожатся. Карты «боевых действий» на территории анархического знания как раз и призваны показывать динамику образования новых союзов и распада старых, а также перемещения линий фронта. На одну какую-то паранауку всегда найдется другая паранаука, которая ее нейтрализует (по аналогии с пословицами, для каждой из которых имеется противоположная ей по смыслу). Например, противоречиво, логически невозможно «верить» в существование инопланетян, посещающих Землю на своих «летающих тарелках», и одновременно в теорию плоской Земли, потому что, согласно последней, никаких планет как далеких небесных тел нет, а есть «небесный свод» с подвешенными к нему, как на веревочках, бутафорскими дисками: инопланетянам просто неоткуда будет прилетать к нам (если только они не просочились сквозь дыры в небесном своде, которые мы ошибочно называем звездами). Придется выбирать одно из двух этих «верований» либо же создавать их синтез. Или же на каждую альтернативную хронологию найдется другая альтернативная хронология, которая если не полностью отрицает ее, то фундаментально ей противоречит, — не меньше противоречит, чем сегодняшняя официальная хронология. Исследование паранаук потому и необходимо, что оно может выявить противоречия между ними и указать на пути их разрешения.

Будущее безгосударственных наук предстает тогда как их всё более мелкое деление и их постоянный блендинг, синтез. Причем число новых, отколовшихся или ответвившихся наук также будет постоянно «сжиматься» за счет изобретения новых способов их

картирования (абстрагирования). Словом, майдан знаний далек от хаоса, хотя структура его и намного сложнее, чем структура современного научного знания (а может, и проще; в любом случае неожиданней).

Под картами мы здесь понимаем *структуры «третьего типа»*. Такими структурами могут быть математические или логические формализмы, колоризация или сонификация знаний, образные диаграммы и т.д. Скажем, если между «верой» в инопланетные летающие корабли и «верой» в плоскую Землю имеется логическое отношение противоположности, то можно построить логический (аристотелевский) квадрат, где две эти «веры» являются верхними вершинами (A и E), а нижними вершинами (I и O) являются, например, утверждения «мы одни в космосе» и «Земля круглая» (между A и E — противоположность, между A и O , между E и I — противоречие, между I и O — субконтрарность, между A и I , между E и O — отношение подчинения). Далее этот квадрат может дополняться новыми вершинами-утверждениями, превращаясь в логический многоугольник, или логический полисимплекс (эти фигуры изучает геометрия n -оппозиций). Таким образом мы получаем карту несовместимых друг с другом представлений: движение по ней показывает, какие следствия влечет за собой принятие той или иной «неортодоксальной» точки зрения.

Мы называем такое исследование майдана знаний именно *чтением* (безгосударственным), потому что совсем не обязательно дожидаться конца государства и науки: таким способом можно и нужно *читать* и *перечитывать* тексты уже сегодня — как если бы всё уже закончилось. Более того, такие техники анархического, безгосударственного чтения, возможно, единственные и способны вывести науку из тупика, в котором она, по большому счету, пребывает начиная с 1970-х гг. В

случае, если описанный сценарий полной когнитивной дезориентации однажды воплотится в жизнь, для практикующего безгосударственное чтение приятным бонусом будет атараксия.

Воображение и разобращение

Радикальная форма аскезы воображения, которую практикуют метарусские, сопротивляясь медийной бомбардировке образами, — *разображение*. Разображение развивает смирение перед непредсказуемостью будущего и бесстрашие. Известно, что наиболее бесстрашны те, кто воображения полностью лишен: они подобны диким зверям, управляемым инстинктами, и ничто не мешает им быть соразмерными встречаемой реальности. Любое воображение будущего — это не только предупреждение вероятных (по Байесу) опасностей, но и выдумывание опасностей маловероятных или невероятных, в которых легко заплутать. Из миллионов воображенных миров Бог всё равно выберет для актуализации лишь один. Симуляция божественного выбора нам пока что недоступна, но мы, по крайней мере, можем быть готовыми ко встрече с новым актуализованным миром. Для этого и нужен режим разображения, который требует: все образы должны быть временно уничтожены.

Режим разображения можно сравнить с «туманом войны» в играх-стратегиях, когда видна лишь часть карты, — та, на которой сфокусировано внимание игрока, — а остальная часть погружена в неизвестность. Другая аналогия — девербализация в интерпретативной теории перевода Д. Селескович: для перевода с одного языка на другой нужно сперва понять, о чем идет речь, затем девербализовать понятое, то есть отвлечь его от

образов конкретных слов, и наконец переформулировать на целевом языке. Девербализовать понятое — то же, что разобразить реальность, чтобы затем более адекватно перевести ее на язык наших образов.

В идее разображения соединяются буддийский принцип непосредственности и аниконизм радикального ислама. Но теория разображения скорее тактически эксплуатирует эти доктрины. Стратегически догмат иконопочитания, принятый на седьмом Вселенском соборе, должен быть сохранен. Полезно, однако, не забывать, что византийская императрица Ирина, способствовавшая принятию этого догмата, отметилась также и другим поступком: борясь за власть, она приказала выколоть глаза собственному сыну, то есть заблокировала ему доступ к иконам, созерцание которых сама же защищала. Здесь как будто проявилась диалектика любви и ненависти к образу, воображения и разображения, которая всегда была двигателем европейской культуры.

Не препятствует ли разображение изобретению нового возможного будущего или предупреждению неочевидных, но вероятных опасностей? Проблема в том, что *сегодня наиболее развито правое, контрреволюционное воображение*, и воображение революционное временно не может его превзойти. Мы сегодня имеем дело одновременно с переизбытком образов и с застоем образов (образом-застоем), когда каждый новый образ сам собой липнет к идеологии ре-революции (то есть реакции; термин белого полковника Е. Э. Месснера). Пример метазастойной России (и не только России) показателен: тогда было создано множество сценариев ее консервативного развития и почти ни одного интересного постреволюционного (интересного — значит достойного

безграничной силы нашего воображения). Поэтому, возможно, имеет смысл временно воздержаться от создания новых образов и ждать, когда враг оступится.

Но не стоит думать, что вследствие практики разображения наша способность воображения повредится или атрофируется: воображение — это не мышца, которую тренируют, это скорее неиссякаемая пещера разбойников, в которую в любой момент можно войти, если знать кодовое слово. Кодовое слово же к этой пещере дается совсем не способностью воображения, оно скорее лежит во встречаемом актуальном мире, который циркулирующие виртуальные образы могут неумышленно или умышленно заслонить. Парадоксальная истина в том, что *воображение Али-Бабы меньше воображения Касима*.

Метарусская любовь

См. третью редакцию Конституции.

Метарусский календарь

Каждое время года, каждая календарная эпоха в Метароссии сначала изобретается и только потом «наступает»: если следующая эпоха не изобретена, коллективное время может вечно толочься на месте («вечный метазастой»), ну или будет что-то серое, проходное, забвенное — «как будто и не было».

Изобрести будущий сезон — значит дать ему имя, придумать хрононим и/или хроноэпитет. Например: Легендарное лето 2018 года, Священная весна 2020 года,

Стильная осень 2020 года, Метафорическая зима 2020—2021 гг. (Легендарное лето 2018 года было первым и поистине легендарным в ряду метарусских лет, потому что именно тогда, как считается, было изобретено бессмертие — была накоплена критическая масса больших данных, позволившая впоследствии восстановить каждого, кто дожил до этого лета.) Хроноэпитет перспективно задает коллективный стиль проживания будущего («легендарный», «катастрофический», «свободный»...) и ретроспективно маркирует и дифференцирует прожитое (прошлые осени и вёсны не сливаются, остаются различимыми). Из хрононимов и хроноэпитетов формируется метарусский календарь, который есть не что иное, как переизобретение сезонных обрядов — прославление вечного возвращения различного.

Еще в начале XXI века пришло осознание того, что для коллективного времени больше не нужна жесткая, регулярная метрика, — тогда естественным образом перешли к жидким датировкам (ненормированный рабочий день, «плавающий Брекзит» и пр.). Но нужно было сделать еще пару шагов — от жидких дат к огненным, воздушным и далее — к эфирному времени. Жесткое, земное, кристаллическое время было изобретено в эпоху промышленной революции для взаимoadaptации зрелых человеческих и юных машинных индивидов (кварцевые часы как венец этой эволюции). Цифровая техника разжижила эту систему мер. А первый метарусский календарь был уже не жидким, а воздушным: из Легендарного лета 2018-го можно было перепрыгнуть, как с облака на облако, в Баснословную осень 2019-го, а что было между ними никто уже и не помнит...

Роль технического средства для отсчета эфирного времени в Метароссии играет технология, известная

как блокчейн, этот цифровой гомолог аристотелевской «великой цепи бытия». Это было хотя и неожиданным, однако самым важным применением блокчейна: блоки транзакций служили отметками календарных микроэпох, отвечающих внутреннему течению времени трансиндивидуальных коллективов. В конце концов, коллективное время необходимо прежде всего для синхронизации человека и человека, человека и машины, а также для диахронизации событий внутри этих отношений. И блокчейн почти идеально подходил для этих задач: оставаясь привязанным к регулярному, земному времени через так называемые *time stamps*, он позволяет надстраивать над этим хроносом новые свободные зоны, общие для данного коллектива, и поддерживать альтернативные темпоральные цепочки. Каждый трансиндивидуальный коллектив может, таким образом, самостоятельно решать, когда создать новый блок, то есть перепрыгнуть в следующий «месяц» или «сезон», а когда форкнуть эту цепь и образовать иную календарную разметку.

Приложение. Метарусский календарь на 2021 год:

Метафорическая зима 2020—2021 гг., Абстрактная весна 2021 года, Бешеное лето 2021 года, Беззаветная осень 2021 года, Глубинная зима 2021—2022 года.

Приложение 2. Проектный метарусский календарь на 2022—2040 гг. (поддается корректировке, но служит определителем хрононимов по умолчанию):

2022: Обыкновенная весна, Несокрушимое лето, Высокая осень, Абсолютная зима;

2023: Параболическая весна, Остановившееся лето, Электрическая осень, Самотрансформирующаяся зима;

2024: Неприкасаемая весна, Индокитайское лето, Международная осень, Диалектическая зима;

2025: Разбивающая весна, Информационное лето, Неспящая осень, Фотографическая зима;

2026: Неприкрытая весна, Зыбкое лето, Центробежная осень, Уравнивающая зима;

2027: Вездесущая весна, Отраженное лето, Безошибочная осень, Фригийская зима;

2028: Проницающая весна, Взрывное лето, Гипотетическая осень, Мелодичная зима;

2029: Сладчайшая весна, Невыносимое лето, Множественная осень, Архетипическая зима;

2030: Столетняя весна, Далекое лето, Триумфальная осень, Невидимая зима;

2031: Титаническая весна, Средневековое лето, Обобщенная осень, Теневая зима;

2032: Шибкая весна, Эфирное лето, Шагренева осень, Стратегическая зима;

2033: Окольная весна, Сингулярное лето, Остаточная осень, Бесстрастная зима;

2034: Детская весна, Беспощадное лето, Архивная осень, Пурпурная зима;

2035: Вопросительная весна, Буквальное лето, Щедрая осень, Бессмертная зима;

2036: Горизонтальная весна, Вихревое лето, Пористая осень, Полифоническая зима;

2037: Победная весна, Вкрадчивое лето, Разделяющая осень, Трансцендентальная зима;

2038: Безупречная весна, Марсианское лето, Нечеткая осень, Раздетая зима;

2039: Необъятная весна, Упрощенное лето, Вечная осень, Утешительная зима;

2040: Дерзкая весна, Безотчетное лето, Драматическая осень, Ситуативная зима.

Воображающие машины

vs. машины насилия

Метарусский анархист Грэбер, возможно, первым противопоставил насилие и воображение как фундаменты правой и левой политики соответственно: «Правые и левые политические теории основаны прежде всего на разных предположениях о подлинной сущности власти. Правая идеология берёт свое начало в политической онтологии насилия, в которой быть реалистичным означает принимать во внимание силы разрушения. В ответ на это левые последовательно предлагают вариации политической онтологии воображения, в которой необходимо учитывать силы (производительные, созидательные), которые что-либо создают» («Фрагменты анархистской антропологии»).

Делёз и Гваттари разместили желающие машины и капиталистические машины на одном игровом поле: они входят друг с другом в сложные, противоречивые отношения — питают, тренируют друг друга, но одновременно подрывают и блокируют. На одном поле с государственными машинами — то есть машинами насилия, если понимать государство как монополиста насилия, — должны находиться уже не желающие, а воображающие машины. Именно воображающим машинам «выпала честь» отменить государство, отменить саму необходимость в государстве (машины войны, о которых речь идет в «Тысяче плато», сделать этого не могут).

Разумеется, государство и его насилующие машины также активно обращаются к ресурсам воображения. (Такое воображение мы называем *правым*, или контрреволюционным, воображением.) Иногда даже кажется, что тот или иной акт государственного насилия был чем-то

абсолютно невообразимым — идет ли речь об агрессии против собственных граждан или против других стран. Но доступ к ресурсам воображения у государства структурно ограничен. Во-первых, государственное воображение направлено прежде всего на удерживание, сохранение образа государства: все прочие образы отсеиваются как неуместные, «пустые», безумные, архаические, опасные (в том числе наукой, которая служит государству в этом деле верной опорой). Во-вторых, машины насилия не могут вообразить ненасилие: образ ненасилия всё равно будет иметь для них черты насильственности — вид военной хитрости или тактической уловки.

С одной стороны, само по себе насилие возникает от отсутствия воображения, от неспособности вообразить какой-то другой способ взаимодействия: таково почти всё насилие государственное, насилие косных, тупых бюрократических структур. С другой стороны, есть насилие, связанное с расвобождением воображения: таким насилием является восстание. Восстание нуждается в воображении, чтобы представить себе другой мир. В периоды восстаний все общественные институты — а их конечной целью является сохранение текущего положения вещей просто в силу, что они не способны вообразить никакого другого, — активно заняты подавлением воображения восстания. Те образы восстания, которые иногда все-таки просачиваются сквозь средства массовой информации, как правило, не продлеваются в умах их зрителей, не раскрываются в своей жизненности, они как будто изначально замкнуты в тех ситуациях, в которых они были схвачены. Хотя образы восстания именно тем и отличаются от многих других образов, что они могут нарушать границы ситуаций, то есть быть потенциально какими угодно. Воображение восстания уже есть начало восстания воображения.

Нельзя сказать, что воображающие машины не

интересуются насилием (см. современный «массовый» кинематограф), но помимо насилия у них есть много других предметов: это не самая, что ли, родная для них среда. Отсюда парадоксальная правота тех, кто говорит, что ненасилие защищает государство (П. Гелдерлоос): государство основано на насилии, на воображении насилия, а те, кто выступает за воображение, зачастую не могут с государством в этом воображении тягаться. Максимум воображения насилия достигается только определенным насилием воображения.

Однако государство не может быть отменено (только) насилием: насилующие машины, как мы это многожды наблюдали, воссоздадут государство. Государство может быть отменено только воображением, только полной победой воображающих машин. И речь здесь даже не о том, что воображение — или «идея», если точно цитировать Маркса — становится материальной силой, когда оно овладевает массами. Отмена государства не равна его физическому уничтожению — да и что значило бы такое уничтожение, когда государство везде и нигде?.. Анархисты всегда подчеркивали, что государство *не нужно*, что это что-то излишнее, какой-то довесок или паразит на общественном теле, и воображение необходимо именно для того, чтобы вообразить эту не-необходимость государства. Возражат: ну вот мы вообразили, а государство с его насилующими машинами всё еще тут... Такое возражение, стремящееся казаться ненаивным и непростодушным, на самом деле крайне наивно и простодушно, поскольку оно не учитывает то, как *трудно* негосударственное воображение — как трудно вообще вообразить даже ситуацию, в которой мы уже вообразили не-необходимость государства.

Поломки и Починки Большие и Малые

Метароссия наследует от России ее культуру. В чем специфичность русской культуры? Ответ на этот вопрос будет дан в перспективе, которую мы называем технотеологической.

а) технотеологическая перспектива

Согласно этой перспективе, в основе каждой культуры лежит отношение между бессознательным или полубессознательным религиозным фоном и вещами, то есть фигурами, выделяемыми коллективным сознанием на этом фоне. Технотеология рассматривает религиозное и техническое в их единстве, и это единство внутренне структурировано как фигуру-фоновое отношение, то есть представляет собой технорелигиозный гештальт: вещи всегда окружены каким-то религиозным фоном, то есть артикулируемыми или неартикулируемыми убеждениями и верованиями, а сами вещи как бы вырезают на этом фоне определенные фигуры.

Истоки такого представления мы находим в книге «О способе существования технических объектов» философа Ж. Симондона, где говорится о равноисходности и изоморфизме религиозной и технической мысли, которые дивергируют из примордиального магического единства. Религия и техника возникают в результате пересыщения магического единства и последующего фазового сдвига. Заметим, что тезис Симондона об изоморфизме технического и религиозного очень «русский» (и даже метарусский): он близок к космистским (Н. Федоров) и богостроительским (А.В. Луначарский, М. Горький) интуициям. Что Симондон привнес нового в сравнении с этими интуициями, это, во-первых, утверждение *единства* технического и религиозного, изоморфизма

вещей и «веры», во-вторых, указание на структуру их отношений: это фигура-фоновая структура *гештальта* (как она была разработана немецкими гештальтпсихологами).

Мыслить вещи и религию в их единстве, «как одно» — значит мыслить вещи теологически и мыслить теологию «вещественно», технически. Такой подход отличается от «материального поворота» в исследовании религии, так как в последнем техническое и религиозное еще не уравновешены: приоритет отдается материальному, как ранее приоритет отдавался «духовному». Технотеология же притязает на то, чтобы смотреть из «середины», из «метрополии», по отношению к которой религия и техника выступают «провинциями» (тем самым устраняется скомпрометированное противопоставление «архаики» и «модерна»). Она также отличается и от самой философии Симондона, в которой напряжение между религией и техникой (как между фоном и фигурой) снимается, медируется эстетической и философской мыслью: технотеология полагает, что мы способны схватывать религию и технику в их разделенности. Точнее, схватывать не их самих по себе (ввиду асимметрии и взаимообратимости фигуры и фона это невозможно), а отношение между ними. Это отношение выражается контуром — активной феноменальной линией между фигурой и фоном. Можно сказать, что философия Симондона и технотеология относятся друг к другу как марксизм и ленинизм: первая рисует шахматную доску и расставляет на ней фигуры, вторая начинает этими фигурами играть.

Для рассуждений о культуре в свете тезиса о единстве технического и религиозного необходима выработка компактного концептуального языка, емких понятий, которые выражали бы это единство. Такими понятиями являются *поломка* и *починка*.

б) поломки и починки

Наблюдая за поведением вещей в повседневности, мы можем заметить, что они постоянно ломаются, претерпевают поломки и требует от нас своего исправления, починки. Такой взгляд не есть позиция «творца», делателя вещи, это скорее взгляд пользователя, взгляд наивно-феноменологический. Однако само делание вещи также включает в себе микроциклы поломок и починок, и сам делатель во всех ситуациях за пределами своих компетенций является обычным пользователем.

С учетом религиозной перспективы вещи могут ломаться двумя способами. Есть поломки «посюсторонние», то есть потенциально подвластные исправлению, починке: назовем их *Малыми Поломками*. И есть поломки «потусторонние», то есть неподвластные исправлению, нечинимые: назовем их *Большими Поломками*. Синонимы Малой Поломки: повседневные препоны и неурядицы, досадная чушь, неустранимые несовершенства мира, абсурд, «не то», «хуйня»... Синонимы Большой Поломки: смерть, безумие, конец света, Сатана, полная экзистенциальная дезориентация, «пиздец»...

Ответом на поломки (проблемы) являются починки (решения проблем), которые мы также разделим на два типа — Большие и Малые. Синонимы *Большой Починки*: «спасение», чудо, бог, «вождь», «коммунизм», «технологическая сингулярность», бессмертие, воскрешение... Синонимы *Малой Починки*: повседневная жизнь в сопротивлении силам энтропии, «возделывание своего сада», труд, техническая гарантия, общественные институты, цивилизация...

С помощью предложенной четверицы понятий (Малая Поломка, Большая Поломка, Малая Починка,

Большая Починка) можно выявить технорелигиозный гештальт той или иной культуры (выступающий ее базисом, как экономика выступает базисом культуры в марксизме), то есть проанализировать ее религиозный фон и характерное для нее отношение к вещам.

в) религиозный фон в русском технорелигиозном гештальте

Религиозный фон русской культуры образован двумя фундаментальными влияниями — восточным христианством и языческими культурами (культ Матери Сырой-Земли). (Попытку подобного анализа уже предпринимал М. Вебер и его продолжатель Д. Зильберман в книге «Православная этика и материя коммунизма».)

Восточное христианство, в его отличии от западного, определено греческим предпочтением апофатического богословия катафатическому, а также догматом о различии сущности (*ousia*) и энергий (*energeia*) в Боге. Согласно этому греческому догмату, сущность Бога ни познаваема, ни непознаваема, но сверхнепознаваема (греч. *hyper-*): она абсолютно недоступна для нашего познания — и всё же непостижимым образом доступна. Единственное, с чем человек может твердо иметь дело, — это «энергии», «действия», «операции» Бога, которые относятся к Его сущности как лучи к солнцу. На Западе такая точка зрения представлялась еретической, абсурдной, почти что языческой (поскольку единый Бог оказывался как бы двумя богами). Принятая Римско-католической церковью томистская догма гласит, что сущность Бога непознаваема, но при этом она полностью тождественна Его *energeia* (лат. *actus, operatio*): всё совершаемое — постольку, поскольку оно совершается,

— это и есть Бог во всем Его совершенстве и полноте.

Если сущность Бога непознаваема, то и сущность вещей непознаваема. Однако носитель восточно-христианского религиозного этоса может непосредственным образом иметь дело с «энергийностью», операционностью вещей. Техника на Западе (во многом под влиянием Сен-Симона и О. Конта) постепенно сделалась нерелигиозным богом, продуктом или эпифеноменом криптоатеологической идеи прогресса — ибо для Запада нет никакого другого смысла в энергиях как технике, кроме их актуального тождества с Богом. Тогда как техника на Востоке стала чем-то вроде вечного вопроса о технизации нетехнизируемого, проблематизацией самого технического в большей степени, чем технизацией тех или иных насущных проблем, то есть Малых Поломок.

История философии техники в XIX—XX веках ярко демонстрирует это различие: от Н. Федорова до советских авангардистов и научных фантастов техника мыслилась как проблематизация несовпадения — между смертностью и вечностью, между Землей и космосом, между человеческим равенством и социальным неравенством, — которое в конечном счете является несовпадением между божественной сущностью и энергиями. На Западе же — от Сен-Симона и Маркса до Хайдеггера — техника была скорее инструментом приближения совпадения, которое хоть и сохраняло утопический характер, однако на другой лад: мера его утопичности мыслилась обратно пропорциональной техническому — божественному — совершенству. Лишь у Хайдеггера этот утопизм снимается: может быть, и не так, как сам Запад того хотел, но его судьба наконец-то совпала с техникой.

Такой религиозный фон формирует у представителей

восточно-христианской культуры интерес к Малым Поломкам: именно в технической поломке лучше всего выражается та социокультурная конструкция, которая теологически была задана несовпадением Божественной сущности и энергий. Важна, конечно, не сама поломка, а то, что она переводит внимание с вещи (Бога, государства, товара...) как сущности на ее операционность («энергичность», как писал Лосев). Под операционностью здесь понимается то, как вещь становится собой, ее внутреннее устройство, ее жизнь как индивидуального организма. Как только вещь начинает совпадать с миром, приобретает стабильную сущность в социально-экономическом космосе, интерес к ней утрачивается. Эту мифологическую установку можно было бы обозначить двумя терминами, один из которых рожден в лоне греческой культуры, другой — в лоне советской: *апофатический конструктивизм*.

Второй фактор в образовании русского религиозного фона — «языческий», политеистический: рудиментарное присутствие языческого культа Матери Сырой Земли в русскоязычной повседневности. Речь идет о «русском мате», который восходит, если следовать Б. Успенскому («Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии»), к славянскому культу Матери Сырой Земли и роль которого для русской культуры, как писал С. Булгаков («На пиру богов»), недооценивал даже Достоевский. Технотеологически задача обценной лексики — передавать в компактной форме психические состояния, связанные с какими-то «потусторонними» поломками или починками (*не работает / заработало*). И существенное отличие русской брани от брани в европейских языках в том, что последняя зачастую обращена к христианским фигурам (богохульства в адрес Богородицы или Иисуса), тогда как первая — исключительно к дох-

ристианским, «языческим» (осквернение Матери-Земли).

В самом деле, что такое Пиздец — слово, не отсылающее ни к чему конкретному, ни к какой «посюсторонней» реальности, — если не Большая, «потусторонняя» Поломка, не апокалиптика без эсхатологии (конец света без спасения)?.. Регулярно звуча в повседневной речи, это слово повторно «заколдовывает» реальность произносящих или слышащих его — с одной стороны, дает им своего рода «карту дезориентации», с другой, приучает их жить внутри циклического времени «языческих» культур, времени без исхода. Впрочем, соединение этого мифологического «пережитка» с православным обетом милости Божьей породило более сложную и двусмысленную культурную картину: из циклического времени Пиздеца всё же есть выход, хотя он и размещен как бы вне него — поскольку линейное, лучеобразное время христианства ассоциируется с мужским, а не с женским началом, выраженным в культуре земли.

г) конфигурация русского технорелигиозного гештальта

Описанный так религиозный фон русской культуры ответственен за следующую конфигурацию поломок и починок:

1. Русская культура характеризуется отсутствием выраженного страха перед Большой Поломкой: Большая Поломка уже заключена в восточно-христианском апофатизме как абсолютная иррациональность, непредставимость познаваемого–непознаваемого Бога (*поломка логики*); Большая Поломка уже присутствует в повседневном языке — как Пиздец (*поломка языка*).

2. Русская культура характеризуется ожиданием

Большой Починки — упованием на мгновенное чудесное исправление всего, не требующее труда. Вся российская история последних веков может быть рассмотрена как движение от одной Большой Починки к другой, точнее, как череда фантазий о ней, которые иногда воплощаются в жизнь.

3. Русская культура характеризуется вниманием к Малым Поломкам, сосредоточенностью на них. Одержимость русских Малыми Поломками замечательно точно передана в апокрифической цитате из лекции метарусского философа А. Пятигорского, ходящей по сети: «Главная особенность России — не воровство, не коррупция, не глупость, не злоба... (*переходя на еле слышное бормотание*) не хамство, не тщеславие, не невежество. Главная особенность России (*вдруг переходит на крик*) — ЭТО ХУЙНЯ! ВСЯКАЯ ХУЙНЯ!!!» Отсюда же миф о «русских хакерах». Обнаружив или учинив Малую Поломку, русские каждый раз как бы удовлетворенно восклицают: вот, вот, мы же говорили, сломано наверху — сломано и внизу!

4. Русская культура характеризуется невлaдением Малыми Починками. Малые Починки русским одновременно понятны и непонятны: понятны — потому что представители этой культуры на свой лад всё время ими заняты, непонятны — потому что они занимаются ими бессознательно или полубессознательно, то есть невнимательны к ним. В отличие от европейцев, русские понимают, что Большую Поломку не исправить никакими Малыми Починками, и остается единственно надеяться на Большую Починку. Русские чинят рассеянно, мимоходом, тут и там, так и сяк. Любые починки в России — это, скорее, какой-то странный психомоторный эффект Малых Поломок, что-то вроде зуда или obsессии.

д) хиазм русского и западного технорелигиозных гештальтов

В ноуменальной реальности всё везде ломается с примерно одинаковой регулярностью, однако фильтры национальной культуры порождают разные феноменологии поломок и починок. Так, в силу иного религиозного фона западноевропейская культура покоится на ином технорелигиозном гештальте. Как мы покажем далее, этот гештальт является инверсией русского технорелигиозного гештальта.

1. Западноевропейская культура характеризуется страхом Большой Поломки, что связано с определенной конструкцией римско-католической, а затем протестантской теологии: это контроль паствы при помощи сцен Страшного суда и Чистилища, образов Сатаны, представлений о первородном грехе... Поэтому на Западе были выработаны различные способы защиты от Большой Поломки. В жизни общества наиболее распространенный способ такой защиты — юридикализм (ставший предметом критики уже у славянофилов, в частности у А. С. Хомякова), а в жизни мышления — рационализм (картезианское когито как страховка от безумия).

2. Западноевропейская культура характеризуется умелостью по части Малых Починков. В философии это выражено в картезианских «правилах метода» — убежденности в том, что небольшие упорядочивания могут послужить решению любой крупной проблемы. В общественной жизни это способность к выстраиванию институтов, дисциплинаризации труда, талант к обустройству быта...

3. Западноевропейская культура характеризуется неверием или скепсисом по поводу Большой Починки. (Ср. у Гёльдерлина в «Гиперионе»: «...было бы очень

неплохо, если бы подобные мне иногда встречали бы человека, который бы немного огорчил их, который научил бы их вести малую войну, ибо мы всегда желаем лишь большой войны, где сражаются небеса и ад, или мира, который был бы подобен миру объятия; полного единения либо полного разделения, но половинчатое — это как раз то, для чего мы, сыны человеческие, здесь».) Для европейцев в Большой Починке нет необходимости, поскольку, как им кажется, они навсегда застрахованы от нее Малыми Починками. Последней Большой Починкой в Западной Европе фактически была Великая французская революция, а все последующими починки — лишь «малыми» реакциями на исторические Большие Поломки (прежде всего на последствия Второй мировой войны).

4. Западноевропейская культура характеризуется невниманием к Малым Поломкам. Можно предположить, что именно страх Большой Поломки убавляет восприимчивость к Поломкам Малым. Это, однако, не означает, что европейцы неспособны с ними справиться, — просто они для них не самоценны. Малые Поломки — это как бы лишь тень на божественном лице, лишь досадный изъян в совершенной системе мироздания. Как ни странно, такое отношение к Малым Поломкам только и позволяет справиться с ними по-настоящему. Если «потусторонней» поломки нет, то и «посюсторонним» поломкам в мире не место, они должны быть упразднены в рутинном порядке.

Перечисленные характеристики западной культуры *обратны* характеристикам русской культуры. В технотеологической перспективе отношение культуры России и Западной Европы — это отношение *хиазма*: западная культура тщетно пытается предотвратить Большую Поломку Малыми Починками, а русская культура напрасно ожидает от Большой Починки

исправления Малых Поломок.

В политическом плане всё это означает, что для русских революция (а уж тем более всякие реформы) не имеет никакого смысла, если она не перекидывается на весь мир, не становится международной, космической революцией, Большой Починкой. Но когда эта Большая Починка наконец-то достигается, она почему-то всё время оборачивается Большой Поломкой; и даже если русские ничего не делают, Большая Поломка всё равно приходит к ним (в виде «пиздеца») — ко всем вместе или к каждому по отдельности. Для Запада же революция — это лишь наиболее радикальное усилие в бесконечном откладывании Большой Поломки, лишь доведенная до предела Малая Починка. В тот момент, когда эта Малая Починка уже готова стать Починкой Большой, приключается неприметная Малая Поломка, и всё начинается сызнова (хотя и на новом эволюционном витке).

Метарусские снимают этот хиазм, распутывают узел, сплетенный дивергенцией восточного и западного христианства, стремясь исправлять Малые Поломки Малыми Поломками же и Поломки Большие Поломками Большими же. Принцип исправления Малых Поломок Малыми Поломками был хорошо сформулирован Делёзом и Гваттари: «чем больше поломок, чем больше шизофрении, тем лучше всё работает, по-американски» («Анти-Эдип») — с той оговоркой, что «по-американски» на самом деле означает здесь «по-русски» (неслучайно, что то, что русские называют «американскими горками», американцы называют «русскими горками»). Принцип исправления Больших Поломок Большими Поломками — еще христианский: «смертию смерть поправ» (из Пасхального тропаря).

Метазастой

Текущая земная ситуация понимается как ситуация метазастоя. Советские застои заканчивались тогда, когда умирал очередной генсек или когда внутренние противоречия в закрытом обществе достигали своего локального максимума. Сегодня же современная биорегенеративная медицина обещает почти бесконечное продление жизни, а открытость общества позволяет вовремя выпускать из него пар и, тем самым, смягчать и затушевывать накопившиеся противоречия. В силу этого ждать скорого окончания нынешнего застоя не приходится: потенциально он может длиться вечно. Тысячелетние, обросшие полипами кремлевские бонзы всё так же будут открывать и закрывать в нужные моменты кран недовольства, а общество, смилившееся с реализованной антиутопией, будет существовать само по себе, во внутренней эмиграции.

Такой полуфантастический сценарий вечного, нескончаемого застоя мы называем метазастоем. Полуфантастический — потому что отчасти он уже реализовался, необходимо это признать. Признать застой — важно, но еще важнее показывать его. Понятно, что изнутри любой эпохи чрезвычайно трудно очертить ее контуры, но в застойные времена сделать это еще труднее, поскольку выхолащивается воображение и притупляются средства критического анализа. Любой застой — это прежде всего застой воображения, то есть способности помыслить другое настоящее и другое будущее (особенно очевидным это становится при сравнении нынешней саморефлексии эпохи с саморефлексией исторического момента в революционные периоды истории). Метазастой — это прямые репрессии воображения.

Да, яблони на Марсе не цветут, скажут нам, зато у нас есть наши соцсети, мессенджеры и криптовалюты... Лежащим на поверхности отличием нового застоя, метазастоя, от застоя старого, советского, является повсеместное присутствие в нашем быту средств быстрой коммуникации: можно даже сказать, что *метазастой = застой + быстрые коммуникации*. Эти последние играют двусмысленную роль: с одной стороны, они позволяют власти выпускать народный пар и частично препятствуют протестной мобилизации, с другой стороны, дают коллективам возможность моментально диагностировать ситуацию и наращивать социальный и символический капитал. Любое застаивание — это всегда также настаивание чего-то, настой чего-то, то есть плотное или сверхплотное содержание, ждущее момента, когда оно сделается востребованным. Действительно, в революционные периоды как будто нет времени для медленной интенсивной работы — ускоряющееся настоящее захватывает целиком. В этом плане у застоя есть и светлая сторона: надежда на то, что когда-нибудь застойная интенсивная работа даст свои плоды. Если только не рассеется, добавим мы, в тех же быстрых коммуникациях и не разменяется на бесконечный просмотр телесериалов.

Если советский застой — это «было навсегда, пока не кончилось» (А. Юрчак), то метазастой — это когда должно закончиться завтра, но всё не кончается. Иллюзию скорого окончания нового застоя порождают, вероятно, те самые средства быстрой коммуникации: их скорости гораздо выше, чем скорость инертной государственно-капиталистической машины. Всё выглядит так, как если бы этот застой не мог даже как следует застояться, — он всё время словно немного сдвигается, постоянно обольщает шансом немедленных изменений: это действительно застой самого застоя,

метазастой («мета-» — в значении «над», «обращенное на себя»). И это метазастой в значении «после застоя» («мета-» как «после») — ведь еще недавно казалось, что тот, советский застой никогда не повторится. Советский застой закончился лозунгами гласности, ускорения, перестройки. Но сегодня гласности хоть отбавляй, ускорения, пожалуй, даже в излишке, а микроперестройки поджидают чуть ли не каждый час. Такое чувство, что метазастойю некуда и никак заканчиваться, у нас до сих пор нет подходящего слова для описания выхода из него.

Метазастоем этот исторический момент является еще и потому, что мы сегодня знаем достаточно много о советском застое и оттого якобы имеем возможность посмотреть изнутри него со стороны на наш, современный застой, осуществить всестороннюю рефлексию застойности. Но чтобы посмотреть на нас самих, сперва необходимо, повторимся, констатировать саму эту застойность, принять ее. Необходимо разглядеть следы застойности в том, что мы делаем и что мы пишем. С этой точки зрения, более красноречив сегодня даже не возобновившийся в обществе интерес к теме советских 1970—1980-х, а те формы, в которых застывает современное знание, — скорее герметичные, чем распахнутые вовне (закрытые посты в социальных сетях, анонимные каналы, узкотематические зины), скорее депрессивные, чем эйфорические (достаточно вспомнить тексты наиболее залаяканных поп-песен), скорее обращенные в прошлое, чем в будущее (интерес к архиву, мемориальной культуре, способам трансмиссии знания и пр.). Даже проблема воображения, актуализировавшаяся в этот период, проблема, потенциально способная наметить выход из застоя, в то же время косвенно указывает на то, что нам сегодня остается только вообразить.

Метарусское ускорение

Под ускорением в социальных науках понимают возрастание скорости технического развития, которое для одних (трансгуманисты) есть неизбежный исторический процесс, ведущий к трансформации человеческого, для других — способ существования постфордистского капитализма. Последних можно разделить на два лагеря: это акселерационисты, согласно которым капитализм стимулирует ускорение и одновременно препятствует ему, непрерывно откладывая тем самым подлинно революционные изменения, и различные критики акселерационизма, которые полагают, что ускорение — это параллельная дорога, не совпадающая с революционным путем («ускориться-то ускорилась, а перестроиться не успела» — Й. Ревев).

Все эти три позиции объединяет реалистическая концепция ускорения: оно рассматривается как существующее в действительности, а не как абстракция, имеющая свою историю. Этому *реализму ускорения* следует противопоставить *номиналистический* взгляд: реально существует только какое-то движение вещей (по крайней мере, в гераклитовой вселенной), а скорость и ускорение — лишь способы описывать это движение. Эти способы возникают в ходе развития новоевропейской механики и дифференциального исчисления: скорость — это первая производная пути по времени, ускорение — производная скорости; оба предполагают систему координат, в которой производится измерение, то есть восходят к картезианскому изобретению. Это, повторимся, абстракции, описывающие движение, но не само движение.

Необходимо перевести взгляд с абстракций движения на движение самих абстракций: есть также имя для третьей производной пути, то есть для производной самого ускорения, — *рывок* (*jerk*). Рывок — это момент начала/конца ускорения/замедления (учитываемый, скажем, при разработке транспортных средств). Более высокие производные в классической механике не используются, хотя есть условные англоязычные названия для четвертой, пятой и шестой: Щёлк, Хрусть, Хлоп (*Snap*, *Crackle* и *Pop* — имена гномов, рисованных персонажей с упаковки кукурузных хлопьев) и далее (*Lock*, *Drop*, *Shot*, *Put...*).

В свете этого расширенного представления о движении можно сказать, что понятие ускорения ограничено, так как оно заслоняет ускорение самой скорости, изменение ее изменения. Наблюдаемое технологическое развитие при ближайшем рассмотрении состоит скорее из серии рывков, то есть переходов к «новым открытиям в целой вселенной возможностей» («Манифест акселерационистской политики»), и именно эти рывки заключают в себе невидимые микрореволюции (в этом смысле излагаемая здесь позиция является постакселерационистской). Однако и такое описание было бы далеко не полным. Если трансгуманисты правы в том, что мы имеем дело с экспоненциальным ускорением, то по мере приближения к бесконечной скорости кривой технологического развития (к технологической сингулярности) мы как бы *зумируем* (увеличиваем в масштабе) эту кривую, различая в ней всё новые и новые производные пути по времени (что описывается так называемой алгеброй ростков). В каждом рывке уже заключены Щёлк, Хрусть и Хлоп, и настоящая наука об изменении (которую Симондон называл *аллагматикой*) должна исследовать движение этих

абстракций, а не социокультурные эффекты (точнее, гомологии) абстракций, взятых сами по себе, будь то скорость или ускорение (такую науку можно было бы назвать *дифференциальной аллагматикой*).

Так, техноэкономическое развитие в 1990—2000-е гг. осуществлялось по большей части в форме Рывков, социальной проекцией которых являются *стартапы*. Стартап — это и есть сам переживаемый рывок, то есть короткий момент начала ускорения, когда неважно, чем та или иная инициатива закончится (поэтому мы знаем о начале тысяч стартапов, но почти ничего не знаем об их продолжении или завершении). Во второй половине 2010-е гг. мы вошли в фазу развития, которую можно назвать стадией Щелчка (производная четвертого порядка, ускорение самого ускорения, у которого нет явного механического смысла). На этой стадии всё меняется так, как если бы просто что-то «перещёлкнуло». Конкретным техническим выражением «щелчка» является применение искусственных нейросетей: мы думали, что нам понадобится еще десяток лет, чтобы научить машину обыгрывать мастеров го, но это случилось уже сейчас («щёлк!»).

Метароссия — это пятая производная: это когда «хрустнет».

Метаизация (игра)

Есть несколько причин характерного удовольствия от метаизации — игры, которая заключается в прибавлении к любым словам приставки «мета-».

Во-первых, из всех греческих приставок, которые сегодня в ходу, у «мета-» самое странное значение. Это и нечто «после» или «за пределами» (например,

«метафизика»), и нечто, находящееся на более высоком уровне абстракции (например, «метаязык»), и нечто, обращенное на себя (например, «метапрограммирование»). Если присоединить все эти значения к какому-нибудь обычному слову, то получается «абстрактная чепуха» (как математики называют теорию категорий), или метачепуха. Человеку в принципе сложно помыслить нечто, идущее после, более абстрактное и одновременно обращенное на себя, в особенности, когда речь идет о вещах обыкновенных. Он начинает испытывать умственную перегрузку и в результате вымысливает в «метаслово» какое-то свое содержание. (Подумайте на досуге о «метакомпромиссе».)

Во-вторых, метаизация — это намеренная *инфляция* «мета-». Всё становится метачем-то — усложняется, самоотражается, сгибается или, по крайней мере, намекает на какую-то большую сложность, самоосознанность, самопревосхождение... Важно количество: с метаизацией нужно заиграться, перейти грань, злоупотребить... Удовольствие от метаизации — карнавальное свойство, переживание человека эпохи Метаренессанса.

Тотальная метаизация всего парадоксальным образом ведет к очищению, освобождению всего от излишней сложности. Начинает казаться, что всё уже случилось — по крайней мере, в речи — и не будет сложнее, чем есть сейчас; что будущее — это настоящее. Тем самым мы как будто снимаем тревогу неопределенности, отколдовываем от себя реальную будущую сложность, стряхиваем с себя тяжесть исторического момента.

Половая политика Метароссии

Половая политика Метароссии изначально ориентировалась на идеалы освободительных левых движений, однако после упразднения дискриминации по половому признаку и достижения равенства мужчин и женщин в экономических и культурных сферах «неожиданно» выявилось фундаментальное биологическое неравенство индивидов по части доступа к средствам полового производства. Речь шла о том, что правый экономист и либеральный теолог Дж. Гилдер в своем раннем тексте называл «половым превосходством женщин»: половая жизнь женщины во всех аспектах богаче половой жизни мужчины, и это неравенство неустранимо никакими социальными трансформациями. Так, мужчина, в отличие от женщины, не способен производить новых людей, не оказывает на них такое же колоссальное воздействие в первые годы их жизни, не может испытывать оргазмы такой же частоты и длительности (средства производства эйфории), а его сексуальная идентичность всегда находится под угрозой эректильной дисфункции и потому не безусловна, не «дарована». К тому моменту ни у кого в Метароссии не оставалось сомнений, что описанная Фрейдом женская «зависть к пенису» является всего лишь вторичной реакцией на мужскую зависть к деторождению, на неотчуждаемое владение женщинами средствами полового производства, отсутствие которых мужчины гиперкомпенсировали производством культурных благ и общественных институций, создававших иллюзию бессмертия. Возможно ли равенство полов по части владения средствами полового производства, в области экономики эроса, которая так или иначе

всегда контролировалась женщинами (сперва через романтические и семейные отношения, а затем через эмансипаторную политику), — да и необходимо ли это?

Сторонники правого воображения указывали на лицемерие и лукавство дометароссийского феминизма, который тенденциозно не учитывал этого препятствия на пути к равенству полов, а значит (как считали эти сторонники), стремился на самом деле не к равенству, а к гегемонии. Феминистки борются за мужские богатства, но не хотят делиться женскими, то есть хозяйством эроса, говорили они, причем эта перевернутая борьба за господство камуфлировалась феминистским мифом о том, что одни лишь мужчины жаждут господства. Сторонники левого воображения возражали на это тем, что, конечно, покуда мужчины не могут производить новых людей и многократно безостановочно оргазмировать, никакого равенства полов быть не может, однако обвинять феминизм в лицемерности и лукавстве несправедливо. Эмансипаторным движениям прошлого вообще была свойственна редукция к социальному, говорили они, и лишь осуществление искомым социальных преобразований (равенства в оплате труда, политической и культурной представленности женщин и пр.) могло выявить истину несоциального (то есть эроса). Третьи же — те, кто использовал ресурсы правого и левого воображения скорее тактически, — считали, что дометароссийским феминизмом управляла «смекалка мирового духа»: с одной стороны, феминизм, будучи, как и все современные умственные течения, подозрительным к архаическим аффектам, репрессировал эрос, волю к любви, хотя женщины эту волю когда-то и придумали; с другой стороны, возмущенные мужчины потребовали любовь назад, хотя она им — как индивидам, а не как членам

коллектива — не очень-то и нужна была; в итоге мужчины, как обычно, бессознательно реализовали бессознательный женский сценарий, и так испокон веков, говорили эти третьи.

В одном все были согласны: после воплощения всех чаяний феминизма ситуация перевернулась — ровно так же, как она перевернулась после победы просветителей над церковниками (теперь уже просветители начали осуществлять биомедицинский контроль тел, цензуру мнений и пр.). В вопросе о равенстве полов также образовались три лагеря. Социал-фашистское решение этого вопроса (минус-решение) — отчуждение женских средств полового производства: запрет на роды и на естественное вскармливание детей, лимитирование количества женских оргазмов и их продолжительности и т.п. Биопрогрессивное решение (плюс-решение) — расширение мужских средств полового производства: разработка технологий мужской беременности, развитие функции мужского оргазма, упреждение эректильных дисфункций («эрекция 24/7») и т.п. Наконец, третье решение (ноль-решение) — концессионно-эгалитарное: соглашение о добровольной кастрации мужчин в обмен на добровольный отказ женщин от колдовства. Сторонники этого соглашения признавали правоту дометароссийского радикального феминизма: избавить мир от войн и насилия способна только тотальная мужская кастрация — ибо верить на слово этим насильникам нельзя, воспитать их не представляется возможным. Понятие колдовства вводилось в обход просветительской цензуры через понятие имманентных прошлых жизней («если вы, допустим, в некоей воображаемой прошлой жизни были ведьмой, то какие материальные техники ворожения использовали?»), но большинство женщин в специальных разъяснениях

того, что такое колдовство, не нуждались. Насколько нам известно, ни одна женщина в Метароссии еще не пожелала насовсем отказаться от колдовства, поэтому и ни один мужчина пока что не был добровольно кастрирован. В принципе, это решение было и наиболее консервативным, так как предлагало всё оставить на своих местах, в том числе удовольствоваться существованием «полового превосходства женщин» (как базиса колдовских техник).

Метаправда

Во времена метазастоя стали популярны разговоры о «постправде». Для кого-то это понятие было удобным средством объяснения социального мира в условиях его новой открытости, когда каждый говорит, что хочет, и верит, во что ему хочется. Для метарусских же все эти разговоры являются обычным государственно-капиталистическим жульничеством: они знают, что постправду придумала либеральная пропаганда, чтобы сделать вид, что ее правда не всегда была постправдой, то есть что тогдашняя историческая ситуация чем-то радикально отличалась от прошлых.

На самом деле государство и так называемая свободная пресса никогда и не говорили ничего, кроме постправды, просто в какой-то момент либеральному истеблишменту понадобился новый термин, чтобы объяснить свои неудачи в воздействии на «народ» (метарусские, кстати, давно отказались от этого генерализующего слова, заменив его словом «навид», которое обычно идет в паре с «индивидом»). Поэтому метарусские говорят не о правде и не о постправде, а

о *метаправде*: метаправда — это правда о том, что все государственно-капиталистические правды — «те еще правды».

Метаправда — это анархистская правда, правда по поводу «правд»: мол, в навиде всё про вас, лжецов, воров и убийц, и так всё знают и на самом деле всегда знали, что бы вы нам ни плели. В этом смысле метаправдивость интересно сближается с циничностью. Когда Кропоткин пишет: «Там, где наивные люди думают открыть глубокие политические причины или национальную вражду, нет ничего, кроме заговоров, созданных пиратами финансов. Они эксплуатируют все: политические и экономические соперничества, национальную вражду, дипломатические традиции и религиозные столкновения» (сегодня к этому списку можно добавить здравоохранение), — это напоминает демотивирующую речь циника («всё ложь, всё продается и покупается» и пр.). Однако анархизм подходит к метаправде со всей простотой и ясностью и, в отличие от цинизма, делает дальнейшие шаги в рассуждении о ней: да, «всё ложь, всё продается и покупается», но это вовсе не последнее основание мира, а то, что можно и нужно изменить или отменить. Анархизм — это цинизм, стронутый со своего уютного темного места (своего рода метацинизм). Метаправда — это не конец правд и не некая последняя, высшая правда, а правда о том, что правды довольно просты (просты как простор!) и всем, в общем, известны. Для нее даже не нужно никакого нового термина, в том числе «анархистской правды» или «метаправды» (так называемая дефляционная теория метаправды).

Как говорилось в фильме «Сиблинг-2», метасила в метаправде, а правда — в простоте (метаправота анархиста Толстого)

Образовательные институции Метароссии

Принципиальный недостаток дометароссийских образовательных институций состоит в том, что они строятся либо на 1) предзаданной карте знания (например, обучение «философии» или «социологии»), либо на 2) общности медиума (например, киношколы или школы современного танца).

(1) Карты знания всегда подвижны, но если одна из них по каким-то причинам оказывается более стабильной, ее начинают называть «наукой» или «дисциплиной». Карты знания никогда не поспевают за реальностью, поэтому чем более какая-то из них стабильна, тем она более ограничивающая и неадекватная. Образовательный процесс должен, скорее, строиться на *интересе* — некоем «чистом интересе», экзистенциальном притяжении, которое еще необходимо выявить. Этот интерес вовлекает в реальное исследовательское движение и рисует свои собственные карты. Очень редко интерес исследователя (в масштабе всей жизни) лежит в одной области — чаще мы видим скачки между разными науками, прочерчивание нехоженных маршрутов, которое единственно и составляет развитие знания. Описанную проблему пытались решить в терминах «междисциплинарности» или «трансдисциплинарности», однако под этими словами обычно имеется в виду «простодушное» незамечание границ между дисциплинами или формальное склеивание уже существующих карт, а не создание новых поверх и промеж существующих. Только «чистый интерес» может стать реальной основой для картирования знания в образовательных институциях.

(2) Общность медиума как основа для образовательных институций проблематична главным образом потому, что ей не хватает *проблематизации*. Если карта знания — это ответ на какую-то проблему, которую она помогает решить («сориентироваться»), то общность медиума еще не означает общности проблемы: между двумя кинематографистами может быть бóльшая пропасть, чем между кинематографистом и, скажем, математиком, именно потому, что они по-разному видят свою центральную проблему (и, соответственно, нуждаются в разных картах). Скорее, определенный медиум — будь то кинотехника или тело в случае танца — должен подбираться под определенную проблему: нужны школы обучения «всему сразу». Общность интереса и общность проблемы делают возможным соизобретение: интересное «притягивает», а проблемное «про-брасывает» (πρό-βλημα) вперед. Реальная общность может устанавливаться только между соизобретающими, а соизобретение «равнодушно» к имеющимся разметкам знания и не ограничено какими-то медиа.

Чтобы обучение увенчивалось реальными плодами, а не бесполезными (то есть не использующимися) навыками и дипломами, образовательные институции должны стать некими *интересо-проблемными союзами* или *федерациями*. Еще одна важная проблема, связанная с образовательным процессом, это проблема определения таланта, или предданного ресурса. Для нее сегодня вообще нет никакого «генерального» решения, и это-то становится причиной наибольшего числа карьерных крахов. Между тем, есть простой критерий таланта, указанный в основообразующем для культурной конструкции таланта тексте (евангельских притч): это страх «Господина», главный страх, заставляющий «рабов» актуализировать, не

«закапывать» неравномерно распределенные ресурсы. По главному страху и определяется талант каждого: например, в случае искусства это страх невыносимости (невыносимо сильного чувства), в случае философии — страх безумия (выхода за пределы разума), в случае литературы — страх смерти (страх исчезнуть насовсем, не оставив после себя даже свои «мысли»). Интересо-проблемные федерации как образовательные институты Метароссии должны руководствоваться этическим принципом «от каждого по его медиуму, каждому — по его страху».

Анархия внимания

Вся человеческая деятельность, связанная с общественными институтами и материальной культурой, есть так или иначе деятельность по созданию контроллеров внимания. Религиозные ритуалы, архитектура, искусство, технологии, государственное администрирование — всё это предполагает существование вещей, направляющих и перенаправляющих, включающих и отключающих, ускоряющих и замедляющих наше внимание. Цифровая среда создала условия для наиболее эффективного контроля внимания в истории.

Понятие внимания в современном значении фактически ввел Аврелий Августин для описания функции Святого Духа («О Троице»). Внимание — это не какая-то объективная психическая способность, а теологический конструкт; внимания не существует, это просто-напросто удобный (но часто излишний) способ описывать психические процессы (Э. Рубин). Именно Августин первым концептуально связал внимание с

памятью, «отождествив» их с фигурами Троицы (точнее, со «следами Троицы в Творении»): Бог-Отец — это память (*memoria*) или сами вещи (*re*), Бог-Сын — это представление (*visio*) или интеллект (*intelligentia*), а Бог-Дух — это внимание (*intentio*) или воля (*voluntas*).

Первые христианские соборы установили определенные отношения между фигурами Троицы и закрепили их в Символе веры: Отец «рождает» Сына, а Дух «исходит» от Отца. Позднейший католический догмат о филиокве (=дословно «и от Сына») скорректировал Символ веры: Дух извечно исходит также «и от Сына». Восточные церкви возражали против догмата о филиокве на том основании, что он делает Дух подчиненным Сыну и тем самым «принижает» его.

Ростки догмата о филиокве мы находим уже у Августина, согласно которому Сын «представляет» (визуализирует) Отца, а Дух связывает их — подобно тому, как внимание связывает представление с памятью. В компьютерных терминах Отца, Сына и Духа можно сопоставить с постоянным запоминающим устройством (*данными*), экраном (*выводом*) и контроллерами (*вводом*). Тогда *цифровым филиокве* мы назовем такое отношение между данными, выводом и вводом, при котором доступ к данным всегда опосредуется смычкой, «слипанием» вывода и ввода (=Сына и «извечно» исходящего из него Духа). В этом смысле абсолютное большинство сегодняшних программных продуктов — «католические», так как они базируются на цифровом филиокве: таково, например, любое десктопное приложение с графическим интерфейсом или приложения для смартфонов, сенсорные экраны которых выступают одновременно средством вывода и ввода — «слипанием» обоих. Программные продукты *без* цифрового филиокве (которые поэтому можно называть «православными») — это, например, компиляторы языков программирования:

программист единожды получил представление о коде (Сын посылает Духа, но Дух не исходит извечно от Сына), а дальше взаимодействует при помощи кода с памятью напрямую, не нуждаясь в ее постоянной визуализации, — в отличие от обычного пользователя, программист может коммуницировать с ЭВМ и «вслепую».

Схема цифрового филиокве делает отношения между человеком и машиной патологичными. Линуксоиды знают, о чем речь: вместо того, чтобы бесконечно тыкать курсором мышки по экрану, можно один раз вбить команду в консоли (ввод с минимальным выводом). Другой яркий пример — *App Store*: евангельское «Никто не придет к Отцу, кроме как через Меня» (Ин. 14:6) здесь буквально означает, что управление компьютером при помощи приложений должно постоянно опосредоваться и регулироваться некой инстанцией, которая эти приложения представляет. Покуда Бог-Дух как внимание остается «извечно» привязан к Богу-Сыну как медиуму схемой *цифрового филиокве*, доступ к Богу-Отцу как к памяти может осуществляться только такими, перверсивными способами. Цифровая перверсия развивается по следующей цепочке: Сын «перегрет» (господство цифровых платформ, *software bloat...*) ⇒ Дух несвободен (ограничение пользовательского самовыражения готовыми интерфейсами и архитектурами) ⇒ Отец абьюзивен (данные становятся средством общественного контроля и источником неумеренного обогащения). Платформный капитализм (Н. Срничек) есть частный случай этой проблемы: платформа (=Бог-Сын) целиком опосредует наш доступ к памяти — как следствие, мы несвободны в управлении вниманием. Решение этой проблемы нужно поэтому начинать не с Сына, а с Духа, с «профанной пневматологии», с подбора средств от цифровой «пневмопатологии» (термин Э. Фёгелина).

Память всегда репрезентировалась через внешнее,

через какую-то технику (Платон: восковая дощечка; Августин: анфилады комнат; современные когнитивные исследования памяти: компьютерная память, *storage*). Всё это, с одной стороны, метафоры памяти (когнитивные инструменты), с другой стороны, реальные вещи (материально-технические инструменты), в которых и через которые память способна удерживаться. Память всегда как-то экстернализована. Но то же можно сказать и о внимании: внимание также всегда экстернализно, овнешнено. Внимание — не (только) «внутри», внимание — это также те средства управления (контроллеры), которые медируют память (данные) и ее представления (вывод). Нельзя разделить психическое внимание и контроллер: отсюда *объективность* психической рассеянности (рассеиваются в буквальном смысле в *вещах*).

Проблему управления вниманием поэтому не разрешить только «внутренними», психологическими средствами, вроде медиааскезы, или за счет техноэкономических ограничений «сверху»: ни то, ни другое ничего не меняет в контроллерах-как-внимании. В общественном плане необходима *политизация внимания* — открытая постановка вопроса об управлении вниманием в обществе и в политике. В технотеологическом плане необходима *дефилиоквизация* цифровых средств — отвязка контроллеров внимания (=Бога-Духа) от платформ и приложений (=Бога-Сына): «анархия Духа» (В. Гордин), или *анархия внимания*. (Здесь стоит напомнить о теологическом происхождении термина «анархия»: *arche anarchos*, «начало безначальное» — так один из греческих Отцов Церкви Афанасий Великий называл Бога-Отца.)

Анархия внимания — ответ на *капитализм памяти*. Цифровая Троица без филиокве — это когда Дух веет, где хочет, а не только там, где он получил оповещение. Анархия внимания есть следование скорее самим дан-

ным (=Богу-Отцу), чем их разнообразным, зачастую «неистинным» представлениям. В будущем это могло бы означать отказ от использования чужих программных средств (принцип *not invented here*, НИИ): коммуникация будет осуществляться только через то, что было изобретено самостоятельно и что поэтому никогда не перестает до- и переизобретаться (метарусская «техническая духовность»). Анархией внимания было бы также любое перенаправление, переподключение, рассеивание внимания при работе с памятью: это могут быть и случайные ошибки в приложениях (баги, глитч), и намеренная ремаршрутизация действий в привычных информационных средах (их использование «не по назначению»).

Метарусские хронологии (хроноанархия)

Если сегодня, в эпоху метазастоя, и возможна какая-то настоящая революция, то эта революция произойдет не в будущем, а в прошлом. Например, если нам скажут, что совсем скоро наше сознание загрузят в компьютер и мы больше не будем нуждаться в теле, мы не очень удивимся (хотя телесность и вытекающая из нее смертность являются фундаментальными данностями и их отмена абсолютно революционна). Это сообщение пройдет незамеченным, утонет в массе других странных и абсурдных вещей, привлечших наше внимание. Гораздо больше человек удивится, если ему скажут, что сейчас не 2020 год «нашей эры», а 1723-й (по гипотезе Х. Иллига) или вообще начало XI века (по гипотезе А. Т. Фоменко) «от рождения Христова». Тогда всё прошлое и настоящее предстанет ему как ужасающий обман, все его ориентиры поплывут, время на мгновение исчезнет:

это будет началом какого-то другого мира.

На каждого из нас давит магия числа: XXI век — это очень много, мы многого от него ждали, но оказались обманутыми, разочарованными, фрустрированным. Ни нового фантастического мира, ни конца света, ни Царствия Небесного на Земле не наступило. Поэтому мы должны отказаться от мессианических и утопических ожиданий и наконец «повзростеть»: всё, что у нас теперь есть, это государство, капитализм, наука, техника — и только такие, какие есть... Вот что нам косвенно внушает официальная хронология. Разумеется, в таком представлении заинтересованы прежде всего эти государство, капитализм, наука и техника, которые хотели бы видеть себя венцом развития человечества. Но что если сейчас не XXI век, а, допустим, XI? Тогда у этой, христианской цивилизации, которой, согласно Фоменко, едва исполнилась тысяча лет, всё еще впереди.

«Меняем даты — меняется всё», писал Фоменко, и это «всё» здесь нужно понимать буквально. Сегодня труднее вообразить не конец света и «даже» не конец капитализма, а то, что до конца света или до конца капитализма нам еще жить и жить. Возможно, мы находимся не в «конце», а в «середине» (которая, как известно опытным кинематографистам, всегда «провисает»), в неких «метасредних» веках (*metamedium aevum*). Тот «конец» — истории, искусства, человека..., — о котором мы вслед за Гегелем и Фуко постоянно твердим, всё не может «закончиться» именно потому, что это, возможно, не конец, а «темный лес» середины, метазастой. Труднее сегодня вообразить *середину* «света», *середину* капитализма, *середину* искусства, *середину* истории, *середину* человеческого...

Опасности изменения хронологии в сторону ее сокращения очевидны — тогда учебники истории предстали бы сборниками выдумок, повествованиями

о фантомных, искусственно размноженных «дублях» нескольких событий прошлого (на что не переставая указывает Фоменко). Однако еще более катастрофическим для современного порядка последствием таких изменений был бы даже не этот вскрывшийся обман государства и науки, а заново открывшееся будущее, в котором этим государству, капитализму, науке и технике может не найтись места. Ввиду этого, государство будет до конца охранять незыблемость единственной хронологической шкалы: в той мере, в которой «история — это политика, опрокинутая в прошлое», а хронология — это ось истории, сокращение хронологии будет означать изменение всей политической реальности, быть может, куда более революционное, чем революции социальные.

Есть глубокая ирония и глубокая закономерность в том, что именно Ньютон — эта икона Просвещения — в своей «Исправленной хронологии древних царств» заложил осколочную бомбу под картиной прошлого, сложившейся в эпоху Просвещения. Если ньютоновская оптика давно принята научным сообществом и считается первым историческим образцом строгого научного исследования, то, скажем, оптика Гёте, аргументированно спорившего с Ньютоном и говорившего о «вековом ньютоновском обмане», может быть названа «альтернативной». Но такой же «альтернативной», согласно современному научному сообществу, является и хронология Ньютона. Так каков же подлинный смысл этой «альтернативности»? Не идет ли речь во всех подобных «альтернативных» науках о реальных альтернативах существующему порядку вещей, а не только взглядам ученых?

В Метароссии нет ни единственной «официальной» (государственной) хронологии, ни «альтернативных»

ей хронологий. Метарусские отказались от споров по поводу продолжительности прошлого, признав его фактическую разнотемповость и разноритмичность. В Метароссии действует *хроноанархия*: есть множество сжимающих (сокращающих) и разжимающих (удлиняющих) хронологий — которые называют *хроновариантами*, — и, соответственно, такое же количество версий истории, то есть рассказов о прошлом, адаптированных к тому или иному хронологическому каркасу. Наиболее популярные хроноварианты являются сжимающими по отношению к принятой прежде «официальной» хронологии, но могут выступать разжимающими по отношению к другим хроновариантам (например, хроновариант Иллига разжимает хронологию Фоменко). Если в Метароссии и ведутся споры вокруг различных хронологий, то лишь относительно оптимальности или уместности того или иного хроноварианта для описания тех или иных событий (скажем, входят в моду хроноварианты, разжимающие «официальную» хронологию в два и более раз: такое масштабирование позволяет метаисториками рисовать более сложную, более детализированную картину прошлого, в которой одна и та же историческая фигура удваивается, учетверяется, обнаруживая тем самым богатство своих «субличностей»).

Когда дometарусские спрашивают: «А как вы вообще можете допускать вариабельность продолжительности прошлого, если прошлое уже прошло и длилось оно ровно столько, сколько оно длилось?» — метарусские спрашивают их в ответ: «А как вы в течение последних четырех веков жили с удлинённой хронологией? нормально вам было?» Обман «официальных» хронологов развязал руки «альтернативным» хронологам и парадоксально узаконил их фантазии:

если можно было жить так, то можно жить как угодно. Дело всегда не в установлении некоей единственной неизблемой истины (само стремление к таковой приводит к психическим и социальным катастрофам), а в координации, согласовывании, переводе разных истин... (Таким «координатором» истин был бог Платона как идея блага, делающая возможным познание других идей, и бог Лейбница, буквально координирующий, оптимально связывающий монады.) Способы координации хроновариантов называются *хронопротоколами*, а инструменты перевода — *хронокартами*. Примером хронокарты может служить «глобальная хронологическая карта» (ГХК) Фоменко. Самим ее автором она виделась как способ переустановить новую истину прошлого, метарусские же рассматривают ее как способ перевода государственного хроноварианта в один из безгосударственных (сжимающий).

Вкратце ГХК устроена следующим образом. Фоменко берёт то, что он называет «учебником истории» (E), построенном на «официальной» хронологии, расклеивает его на четыре частично пересекающиеся хроники ($c1..c4$), и затем склеивает их, сжимает до одной хроники ($c0$), которая и дает нам «подлинную» хронологию событий. На основе этой карты Фоменко можно составить метакарту перевода хроновариантов (одну из метакарт), в которой были бы отражены в том числе «бессознательные» предпосылки подобного перевода, имевшиеся у автора карты. Такой базовой предпосылкой является вообще возможность отождествления пространства (карты) и времени (исторических событий) — изоморфизм между историографией (I) и хронологией (C): $I \leftrightarrow C$. Так называемая «критическая часть» теории Фоменко

а) фиксирует четыре хронологии ($c1, c2, c3, c4$), суммирует их (получая старый «учебник истории» $=E$, то есть общую, но «бессмысленную» хронологию $=C$): $c1+c2+c3+c4=E=C=I$ и б) сюръективно отображает их на одну, новую хронологию (пространство-время стягивается): $E \rightarrow c0$. Далее Фоменко осуществляет то, что он называет «реконструкцией»: берёт новую хронологию и инъективно отображает в общую историографию (как бы не покрывает целиком, а втыкает в нее: переинтерпретация отдельных исторических сюжетов с точки зрения новой карты): $c0 \rightarrow I$. Таким образом он создает новый, «подлинный» «учебник истории» (I'): а) устанавливает изоморфизм между «новой хронологией» ($c0$) и новым «учебником истории» (I'): $c0 \leftrightarrow I'$ и б) сюръективно отображает старый «учебник истории» (I) в новый «учебник истории» (I'), в результате чего образуется стянутая историография: $I \rightarrow I'$.

Хронокарта — одна из структур «третьего типа», каковыми изобилует метарусский майдан знаний. Разумеется, всегда есть нечто несогласуемое и непереводимое, однако практических препятствий это обычно не создает: такие апории больше занимают скачущих метарусских логиков. Благодаря хронопротоколам и хронокартами коммуникация по поводу прошлого проходит в Метароссии без особых помех.

Важнейший эффект хроноанархии в том, что никто уже не может обосновывать свое абсолютное политическое господство ссылками на одну-единственную «историческую истину». Не нравится такой хроновариант — всегда можно найти подходящий в соседней вольной общине, включенной в метароссийскую федерацию. Но адресовать метарусским упрек в «историческом релятивизме» было

бы чистым фарисейством: от эпохи к эпохе, от культуры к культуре, от государства к государству «исторические истины» и так всегда разнились, и метарусские не столько упирают на эту относительность, сколько пытаются сделать общую жизнь в этих условиях чуть более выносимой.

Так говорил метарусский

Есть ли смысл в слове «метарусский»? Смысл заключен не в самом слове, а в способе его употребления. Этот способ позволяет сохранять невредимым первоначальное коммуникативное намерение за счет непрерывающегося перескакивания с одного логического типа на другой.

Допустим, я говорю: как метарусский я не могу смотреть, как над моей родиной издеваются лицемерные чиновники. После этого возможны пять коммуникативных ситуаций. Вход в каждую ситуацию может осуществляться «с нуля», но, попадая в любую из них, коммуниканты движутся по их цепочке последовательно (как вперед, так и назад).

Первая ситуация («подозрение и развенчание»). Допустим, мне говорят: метарусский — это не русский, это какой-то русофоб, а может, даже еврей или американец! Ответ: метарусский — это действительно не русский, но и не русофоб, не еврей и не американец, потому что метарусский — это метарусофоб, метаеврей и метаамериканец (и даже метапятая колонна — это уже шестая колонна, ну или четвертая, кому как нравится). Кажется, что в этом воображаемом обмене репликами ничего не произошло. И это действительно так: критика первоначальных утверждений рассыпалась, и их можно

повторять, как если бы они произносились впервые.

Вторая ситуация («идентификация и создание нового образа врага»). Допустим, критики настроены серьезно и спрашивают: ну хорошо — что такое метарусский? Ответ: метарусский — это тот, кто с болью смотрит на то, как над его родиной издеваются лицемерные чиновники и т.д. Здесь возможен возврат к первой ситуации и бесконечный цикл. Само по себе это неплохо, так как первоначальное намерение в этом цикле всё равно будет проступать: при «пустом» субъекте внимание целиком сосредотачивается на его предикатах, а предикаты в этом случае сигнализируют о конкретных проблемах.

Третья ситуация («отрицание и опустошение»). Критики могут пойти дальше и сказать: метарусский — это ничего не значит, это «пустое означающее» (придуманное русофобами, чтобы дурачить русских). Здесь возможен переход ко второй ситуации и еще один бесконечный цикл: «метарусский» будет то нагружаться атрибутами, то опустошаться критикой. Но в общественно-политическом плане операция опустошения заведомо проигрышная, так как слишком абстрактная. Кроме того, сам тезис о пустоте термина будет противоречить явным инвестициям в коммуникацию (с обеих сторон). Поэтому в какой-то момент критики метарусскости будут вынуждены отказаться от этой тактики и вовлечься в метаигру.

Четвертая ситуация («состяжание и просвещение»). Критики говорят: у метарусских не может быть родины, только метародина — «если следовать их же логике»; и про русский народ они ничего не знают, только про какой-то свой метанарод. В этот момент критики, конечно, уже проиграли. Во-первых, они сами порой втайне надеются, что Россия должна быть метародиной для всех, кто ее любит, вкладывает в нее силы и т.п., а русский народ — это самый что ни на есть метанарод.

Во-вторых, в этой ситуации внимание сосредотачивается на означающих, что впервые дает возможность разобраться с тем, что значит «народ», «родина» и пр. Риск возврата к предыдущим ситуациям здесь особенно велик. При удачном стечении обстоятельств конфликт дальше не развивается, и метарусские выигрывают. Но у метарусских так никогда не бывает, потому что это недостаточно смешно.

Пятая ситуация («борьба и победа»). Достаточно смешно — это когда с метарусскими начинают активно бороться. Именно как с метарусскими, а не как с «пятой колонной» и пр. Зрелище невероятно кровавое и комичное: метарусского не идентифицировать по носу или ДНК, роду занятий или политическим убеждениям, метарусский притаился в каждом углу и каждой строчке, в каждом индивиде и коллективе. Активная борьба с метарусскими, разумеется, не обязательно должна принимать форму физического насилия. Это может быть попытка высмеивания — однако метарусские очень серьезны (см. первую и вторую ситуацию); да и как можно высмеять то, что и так уже достаточно смешно? Кроме того, очевидно, что все самые смешливые силы будут на стороне метарусских. Это может быть также попытка психиатризации: мол, метарусские — это просто какие-то сумасшедшие. Но метарусскость — это не безумие, это метабезумие, то есть инструмент, который отражает и гиперболизирует, как в вогнутом зеркале, безумие его критиков. В самом деле, разве не безумны те, кто борются с какими-то там метарусскими?

В итоге пятой ситуации имеем то же, что в итоге первой: по большому счету, ничего не произошло. Не считать же чем-то произошедшим победу метарусских. Таким образом, метарусские выигрывают, еще не начав борьбу.

Метароссия — это не «самоисполняющееся пророчество»

Критика переоценена, но сейчас будет пятиминутка критики.

Могут сказать: Метароссия — это самоисполняющееся пророчество. Понятие самоисполняющегося пророчества — одно из самых бестолковых и бессмысленных понятий, которые приходится слышать в разговорах про будущее. Этот термин ввел в обиход социолог Р. Мертон, отталкиваясь от «теоремы Томаса», которая звучит так: «если люди определяют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям. В этой «теореме» важнее не повторяющееся дважды прилагательное «реальные», а глагол «определяют»: до наступления будущего человек якобы как-то — как «реальное» или как «нереальное» — «определяет» для себя настоящую «ситуацию». Если мы исследуем это действие «определения», полагают социологи, то получим ключ к будущей ситуации. Дефиниция, которую сам Мертон дает «самоисполняющемуся пророчеству», ничего к сказанному не добавляет: это «ложное определение ситуации, вызывающее новое поведение, которое превращает первоначальное ложное представление в реальность», — здесь лишь подчеркивается, что определение настоящего бывает ложным.

Собственно, это все, что нам сообщает об этом понятии наука социология. Проблема с ним возникает тогда, когда мы обращаем внимание на то, что определение чего-то как «реального» или как «ложного» может осуществляться только в ретроспекции, то есть это выясняется только по каким-то следам. Пока ситуация не завершилась (а в известном смысле она никогда не завершается), про нее нельзя сказать ничего определенного. В индивидуальном сознании нет ничего не-

зыблемо «реального» или «ложного» — но есть непрекращающееся взаимонакладывающееся мельтешение смутных впечатлений, которые приходят в какой-то порядок, только когда человек начинает действовать, то есть менять ситуацию... Социология же поступает следующим образом: она неявно всегда уже полагает что-то реальным или ложным (поскольку из самой ситуации она этого узнать не может), а затем попятным ходом вычитывает из обнаруженных следов свое собственное представление о социальной детерминированности последствий какой-то ситуации.

Это классический пример того, как (не) работает социология: она смотрит прежде всего на социальное и потому видит только социальное. Социология ничто же сумняшеся переводит в социальное всё что угодно (например, религиозное), но при этом остается слепой к самой операции перевода, то есть к тому, как она вообще переводит взгляд на социальное. Она даже толком не способна поставить вопрос о том, как такой перевод возможен; вернее, у нее всегда есть на это готовый ответ, и этот ответ — тавтологический: *на социальное нужно переводить взгляд, потому что человек вообще существо социальное, он живет среди людей и не может без них обходиться, поэтому он не может не мыслить всегда и только социально, и это подтверждается наблюдением за обществом, поэтому нам нужно лучше исследовать социальное, и тогда мы узнаем, насколько глубоко человек погружен в социальное, ведь социальное — это особая реальность, которая существует потому, что человек эволюционировал как социальное животное, бла-бла-бла...*

За всей этой одержимостью социальным остается совершенно не ясным, как именно «самоисполняющееся пророчество» «самоисполняется» и что это вообще может значить. Даже пророки сомневались в своих про-

рочествах, а что говорить о простых смертных, которым социология приписывает уверенность в реальности той или иной ситуации... Кроме того, какое только «ложное представление» ни оказывалось впоследствии («истинным» — если только у нас есть хоть какие-то средства для того, чтобы постфактум отличить одно от другого... Однако ясно одно: само по себе пророчество является переводом (текущей ситуации в «какую угодно») — того же рода переводом (текущей ситуации в социальную), каким является и социология. Социолога, как и всякого человека, пугает неопределенность, поэтому пророчество «чего угодно» он заменяет своим пророчеством, пророчеством социального. В конечном итоге, социолог стремится при помощи взгляда на социальное, на других людей заново «заколдовать» пробивающуюся отовсюду первобытную магию, надеясь тем самым лишить ее силы. Понятие «самоисполняющегося пророчества» — это вторичное «заколдовывание», второй перевод, пытающийся ослабить первый, магический. В действительности никаких «самоисполняющихся» пророчеств не бывает — бывают просто «исполняющиеся». Ну, или «не исполняющиеся». Метароссия — что-то из этих двух.

Метарусская смекалка

Смекалка как особая когнитивная способность русских — это консервативный миф, который метарусские отсвоили у правого воображения. У метарусских тоже есть смекалка! Она используется как быстрое экономное средство для решения тактических задач.

«Смекалка» этимологически родственна латинской

«медитации». Чередующийся праиндоевропейский корень **med-/*mek-*, давший начало этим словам, имеет примерное значение «измерения», «отмеривания». Но тогда как под «смекалкой» понимается способность быстро вникнуть в курс дела, сориентироваться в ситуации, догадаться о правильном решении (смекнуть), «медитация» вызывает скорее образ почтенного и размеренного рассуждения, близкого к созерцанию (такой образ дан, скажем, в «*Meditationes de Prima Philosophia*» Декарта или в фигуре роденовского «Мыслителя»). Это два слова одного происхождения и схожего значения, но указывающие на разную ментальную динамику. Можно говорить об историческом раздвоении европейской мысли о способности «измерения» — на западную линию «медленного осмысления» (медитация) и восточную линию «быстрого схватывания» (смекалка). (В одном ряду с ними также находится ближневосточная «хохма» (ивр. «мудрость»), вместе они составляют троицу базовых когнитивных способностей внутри общеевропейской традиции мышления.)

За примерами использования смекалки не нужно ходить далеко в мифическое прошлое Руси — они присутствовали и в повседневной жизни советских людей: это телеигры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) и «Клуб веселых и находчивых» (КВН), не имеющие аналогов на Западе. (Западные интеллектуальные и юмористические телеигры имеют подчеркнuto индивидуалистический характер, в то время как ЧГК и КВН неотъемлемо коллективны, «соборны».) Ментальные умения, требующиеся для участия в этих играх, покоятся на когнитивной способности смекалки. Техника «взятия вопросов» для ЧГК представляет собой целую россыпь приемов быстрого мышления и предоставляет термины для его артикуляции. Скажем, «щелчок» на сленге игроков ЧГК означает эмоциональный момент

усмотрения верного ответа; «перекрутить вопрос» — значит пройти мимо верного ответа; «отсечка» — то, что заведомо исключено из пространства верных ответов, и т.д. Существует классификация методов «взятия вопросов» (Е. Поникаров): анаграмма, поиск антонима, антилогика, «и так ясно», нуль-принцип, палиндром, примитив, «Пушкин», универсум-принцип, хиазм и др. Пример вопроса ЧГК: «Продолжите цитату Чаадаева: „Как поступают с мыслью во Франции? Ее высказывают. В Англии? Ее применяют на практике. В Германии? Ее переваривают. А как поступают с ней у нас?“». Правильный ответ — «никак» («Никак, и знаете, почему?»). Метод, необходимый для «взятия» этого вопроса, — нуль-принцип. Мы, конечно, нарочно в качестве примера взяли вопрос с цитатой из Чаадаева: для этого первого русского западника такое, ЧГК-шное использование «мысли», вероятней всего, было бы подтверждением его мнения относительно русских...

В академической и интеллектуальной среде бытует пренебрежительное отношение к играм ЧГК и КВН — как к легковесным, «пошлым», профанирующим «книжное знание». Такое отношение, может быть объяснено, помимо всего прочего, влиянием западной (и западнической) идеологии «медитации», которая ставит «основательное раздумье» на ценностной шкале выше остальных способов мышления (которые потому и не считаются «настоящим» мышлением). За этой идеологией кроется свойственная философской традиции технофобия: смекалка действительно ближе к техническому мышлению, чем к философскому или научному. Собственно, единственная существующая «теория практики» смекалки была разработана на основе анализа технического творчества: это ТРИЗ («Теория решения изобретательских задач») Г. Альтшуллера. Вовсе не какой-нибудь «фаллологоцентризм»

объединяет западную традицию мышления, а эта идеология «медитации», стиль «медитации» (критика «фаллологоцентризма» в академии осуществляется в том же «медитирующем» стиле). Даже поздние попытки обнажить «бриколажность» мышления (Леви-Стросс, Деррида) и буквально использовать метод бриколажа для создания теории (яркий пример — «Тысяча плато») не привели к пересмотру этой идеологии. Возможно, как раз потому, что в западноевропейских языках нет слова «смекалка». Нужно остановить внимание на этой быстрой мыслительной операции, которая вуалируется идеологией «медитации», которую упускают из виду историки мысли (путая ее, например, с более узкой «интуицией» или с более широким «воображением») и которая почти не оставляет после себя следов на письме.

Что важно, смекалка не есть какой-то бастард восточноевропейской эволюции мышления и представлений о мышлении: ее зерна содержались уже в древнегреческой культуре. Так, в тексте Гомера за Одиссеем закреплен эпитет *πολύμητις*, который обычно переводится как «остроумный», «изобретательный», но который вполне мог бы быть переведен на русский язык как «смекалистый». Греческий корень *μητ* входит также составной частью в имена Прометея («крепкого передним умом») и Эпиметея («крепкого задним умом»). Эти трое — Одиссей, Прометей, Эпиметей — выступают главными героями предыстории смекалки. Действительно, ни Одиссей, ни Прометей не являются «медитирующими» философами, они славны тем, что способны «хитроумно» (*ἀγυκλομήτης* — один из эпитетов Прометея в тексте Гесиода), «искусно» (то есть «технически») решать насущные задачи. Случай Эпиметея более сложный: ему в способности смекалки прямо отказано (его эпитет — *ἀμαρτίνοος*, дословно «блуждающий ум»). Однако в XX веке совершались попытки реабилитации Эпиметея

как наделенного особым типом ума, противоположным прометеевскому (К. Шмитт, И. Иллич, Б. Стиглер). По модели имен Прометея и Эпиметея можно ввести два новых термина — *просмекалка* и *эписмекалка*, — обозначающих два типа смекалистой реакции.

Попробуем перечитать западную мысль в терминах смекалки — *ресмекализуем* «медитацию». Смекалка может быть понята как способность мгновенной ориентации; философия также часто определяла свою центральную задачу как ориентирование в мире и бытии (Платон, Декарт, Витгенштейн). Два основных вопроса ориентирования: *куда идти?* (как найти выход из ситуации?) и *когда уже пришли?* (как не пропустить выход из ситуации?). Западноевропейским мастером ответа на первый вопрос является Декарт: изобретенный им принцип когито («мыслю, следовательно, существую») в любой момент позволяет удостовериться, что мы здоровы и бодрствуем, а не спим и не сошли с ума. Когито — это, по сути, смекалистый, не медитативный ответ: не силлогизм (как это подчеркивали многие комментаторы), а быстрое ухватывание верного направления, «щелчок» на языке игроков ЧГК. Смекалку Декарта мы отнесли бы к просмекалке — активной, прометеевской находчивости. Западноевропейским мастером ответа на второй вопрос является Хайдеггер: подолгу блуждая в этимологических дебрях и вертясь в кругах тавтологий (особенно в своих лекционных курсах), он «интуитивно» знает, когда нужно остановиться, чтобы не пропустить выход, не «перекрутить вопрос», говоря на сленге ЧГК. Смекалка Хайдеггера — это эписмекалка: своего рода медлительное остроумие, всегда достигающее цели благодаря знанию «отсечек».

Метарусские регулярно прибегают к приемам смекалки, почерпнутым из изучения ее институционализированных практик, таких как ЧГК

или ТРИЗ. Например, они всегда помнят о завете Г. Альтшуллера: лучшее изобретение — это когда изобретения нет, а нужная функция выполняется. В общем-то, вся Метароссия и есть такое изобретение или, по крайней мере, хотела бы им стать. Метод «взятия вопроса» в ЧГК, называемый «и так ясно», регулярно использовался (скорее всего, без знания о его существовании) С. Курёхиным, этим образцовым метарусским: про джаз, академическую музыку, рок-музыку и т.п. *и так всё ясно*, нужно идти дальше. Современным метарусским тоже про многое *и так всё ясно*: государство, капитал, Москва — во всём этом ничего нет, нужно идти дальше.

Метарусский язык

Метарусский язык — это осознавший себя русский язык. Главная особенность русского языка в том, что, начав говорить на нем, никогда не знаешь, чем закончишь. Это связано, главным образом, со свободным порядком слов и развитой морфологией. Слово всегда может зацепиться флексией за другое слово и повести фразу в неожиданном направлении (не нужно, например, как в немецком, заботиться о том, чтобы в конце обязательно стоял глагол). Подлежащее в начале фразы может оказаться дополнением, а сказуемое в конце — подлежащим. Поэтому некоторым русским писателям и удавалось договориться до того, до чего на романских и германских языках договориться было бы невозможно.

Такова первая группа (или стратегия) пишущих на русском языке, эмблематически представленная фигурами Толстого и Достоевского. Вторая группа включает в себя в качестве своих ориентиров Пушкина и Чехова: эти авторы понимали, что сейчас уже вот-вот договорятся

до чего-то странного, и — вовремя спохватывались и ставили точку. Но читатель всегда чувствует напряжение языковых энергий, оставленное за точкой... Это та самая пресловутая пушкинская и чеховская краткость, которая не равна компактности английской фразы: кратким может быть только то, что способно длиться бесконечно. Это как остановленный взрыв: все и так понимают, что может рвануть, так что лучше недоговорить, чем договориться до бог знает чего...

Если русский язык — это маневрирование между этими двумя стратегиями, между группой Толстой—Достоевский и группой Пушкин—Чехов, между тем, чтобы договориться до какой-нибудь нелепицы, и тем, чтобы недоговорить, но дать читателю понять, что нелепица возможна, то метарусский язык — это третья стратегия, осознавшая эти две и синтезировавшая их.

Капитализм памяти, империализм носителя

Сжатое определение текущей техноэкономической ситуации таково: это *капитализм памяти*, покоящийся на *империализме носителя*.

Носители — это медиа как «организованная материя», несущая то или иное послание (и противопоставляемая медиологом Р. Дебрэ медиа как «материальной организации»). Теория медиа есть не что иное, как «профанная христорология» (термин Дебрэ): Иисус выступает как исторически первый медиум, то есть материальный носитель послания (гуглите: Тим. 2:5; Ин. 14:6). Развертывание «профанной христорологии» сформировало весь современный рынок индустриальных и постиндустриальных носителей — от печатной книги и виниловой пластинки до дискеты и флеш-памяти.

«Профанная христология» создавалась главным образом в католических и протестантских обществах, поэтому она унаследовала от западной догматической христологии схему Троицы с *филиокве* (=добавление к латинскому Символу веры догмата об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но «от Отца и Сына»). В переводе на язык медиа догмат о филиокве означает, что «информация» (Бог-Дух) вынуждена «извечно проходить» через медиа как носители (Бог-Сын). Так, в случае поп-культуры песня как «информация» и диск (или МРЗ-файл) как носитель де-факто означают для потребителя одно и то же : Дух «слипается» с Сыном, как песня — с диском или файлом, которые ее «несут» (мы называем это *культурным филиокве*). Это и есть технотеологический базис современной экономической системы: капитализм способен перехватывать и переписывать под себя любую экономическую (материальную) *медиацию* только благодаря тому, что эта медиация (Дух) покоится на империи медиума, или Христа, — то есть, можно сказать, на имманентизированном Царствии божьем, как его поняли на средневековом Западе.

Сегодня, в условиях цифрового мира, «информацию» на конкретных носителях мы называем *памятью*. Мы не называли памятью (по крайней мере, неметафорически) индустриальные носители информации, такие как книги или киноленту, потому что они еще не были универсальными «хранилищами», подобными мозгу. Проблема, однако, в том, что вынесенная память сущностно ничем не отличается от той памяти, которая якобы содержится в мозге. Б. Стиглер ввел для этого термин «третичная ретенция»: *первичная ретенция* (по Гуссерлю) — это, грубо говоря, «оперативная» индивидуальная память, *вторичная* — «постоянная», а *третичная* — это удерживание индивидуальной памяти в материальных артефактах,

в изобретаемых человеком технических объектах. Можно поэтому сказать, что индивидуальная память простирается настолько далеко, насколько далеко простираются удерживающие возможности техники.

Будучи в современных условиях всегда как-то материализованной (то есть подчиненной империализму носителя), память есть предмет экономического владения по преимуществу. Не «знания» и не «общий интеллект» (термин Маркса) являются капиталом, вопреки теориям итальянских операистов и концепции когнитивного капитализма: если под «общим интеллект» понимать процессорные мощности, то у рядового пользователя в них нет недостатка, а «знания» сегодня доступны всем, и их можно задаром и без критических потерь «разделить». Капиталом также не являются данные и платформы для их экстракции, вопреки теории платформенного капитализма (Н. Срничек): платформа (такая как *Facebook*) есть лишь один из видов *носителей*, временный и не самый совершенный. (Теории когнитивного капитализма и платформенного капитализма — нужно отдать им должное — приближаются к истине, но не могут ее схватить, так как не располагают для этого достаточно абстрактным аппаратом, каким для нас является технотеология.) Капиталом сегодня является память, рассматриваемая в ее неразрывной сцепке с *империей носителей* (медиа). Это хорошо известно современному человеку, передоверившему собственную память множеству личных устройств и частных дата-центров: наши почтовые ящики и блоги «физически» принадлежат не нам, но частным компаниям, извлекающим из этого владения опосредованную выгоду, а когда мы хотим, чтобы что-то было «у нас», мы вынуждены пойти и купить (докупить) «винчестер», «флешку», SD-карту и пр. (Еще понятней это может быть на примере

смартфонов *Apple*, назначенная цена которых находится в прямой зависимости от емкости их постоянного запоминающего устройства.) И эту зависимость индивидуальной памяти от товарно-денежного обмена, очевидно, не отменить одной лишь «шеринговой экономикой», удешевлением хардвера и т.п.

Существенно также то, что капитализация памяти потенциально безгранична — в отличие, скажем, от процессорной мощности (которая имеет достижимый физический предел): потребность в памяти постоянно растет (точнее, искусственно раздувается рынком и котиками), а расширение дата-центров ограничено только земным и околоземным пространством. Капитализм потому так ухватился за «большие данные» (говоря по-русски, «данница»), что они неоспоримо свидетельствуют о мощи капитала: сама реальность во всей ее пористости оказывается бесконечным капиталом как самовозрастающей памятью, памятью как бесконечным источником капитализации и предметом экономического владения. Капитал сегодня и есть *самовозрастающая память, порождающая прибавочную память*: данные обмениваются на метаданные, метаданные — на новые данные и т.д. (Д—М—Д).

Рынок постоянно давит на нас, чтобы мы увеличивали свои воспоминания, свои архивы. Без наших архивов мы никто, мы нищие. Вместе с тем, социально-экономические решения — например, ликвидация частной собственности на память или обобществление «больших данных» — еще не положат конец капитализму памяти и не пошатнут империализм носителя: требуется также решение технотеологическое — каким является *анархия внимания*.

Метамосква и контроль грёзы

Есть наивысшее напряжение Москвы — Метамосква, «Москва Москвы»: это Соединенные штаты Америки. Зло Метамосквы заключается, однако, не в агрессивном политическом мессианизме («Град на холме»), не во власти Мамоны, не в полицейском насилии, не в лицемерной политкорректности и даже не в «глупоте», по выражению метаметарусского М. Задорнова (этого зла-добра хватало и в Дометароссии), а в ковровых бомбардировках *поп-культурой*. Американская поп-культура — первичный способ, которым тамошняя власть осуществляет контроль простора и репрессии воображения.

Под поп-культурой обычно понимается «массовый» кинематограф и поп-музыка. Рождение поп-музыки в современном смысле состоялось уже после индустриализации кино, после Золотого века Голливуда. Просторней всего нам в наших мечтах, в наших грёзах — именно поэтому интернациональному Левиафану понадобился Голливуд, разработавший эффективные инструменты для контроля грёзы.

Принято думать, что в кино ходят, чтобы восполнить в воображаемом нехватку реального. Реальность несовершенна, и примирить с ней может только мечта. Но нас обманывают — или мы сами себя обманываем: мечта еще никогда никого ни с чем не примиряла.

Кино — первое визуальное искусство, которое было избавлено от необходимости подражать природе: киноаппарат воспроизводит действительность, не требуя усилий от человека. Изобразительная реалистичность кино «санкционировала» нереалистическое изображение мира: говоря языком ранних кинотеоретиков, дух обрел почву фотографической достоверности и устремился к «ложному». Кино быстро снискало репутацию вымысла

par excellence, антипода «реальной жизни». С легкой руки И. Эренбурга его стали называть «фабрикой грёз».

Как человек-невидимка нуждается в одежде — чтобы быть узанным и признанным, — так и грёза нуждается в объективации. В кинематографе она нашла себе прибежище — словно перешла из газообразного состояния в более устойчивое жидкое (мечтания связывают с созерцанием облаков и звезд — газовых шаров, в то время как кино можно сравнить с необратимым водным потоком). Заручившись гарантией объективного воплощения, мечта в кино отделяется от субъекта — как автора, так и зрителя — с невиданной в истории легкостью.

Однако способность кинематографа объективировать мечту была в конечном итоге использована против самой мечты. Сегодняшний кинозритель получает вместо грёзы сухой паек реального, поданный под видом грёзы: кино давно превратилось из «фабрики грёз» в «фабрику реального». Не того реального, на которое можно опереться, не «правды», за которую можно держаться, а того реального, которое олицетворял осёл из ницшевского «Заратустры»: для него реальность — это страдание, тяжесть, которую нужно нести. Если в свои первые дни кино обладало для зрителя магической силой, то после его индустриализации, то есть после Золотого века Голливуда, силой этого воздействия стало измеряться человеческое бессилие: чем ярче, как считается, мечта на киноэкране, тем меньше будет у кинозрителя желание воплотить ее в жизнь. Функция кино сегодня — не столько индуцировать грёзу, сколько легитимировать тяжесть реального. «Это жизнь, а не кино», — всюду говорят нам, но на это мы ответим: «Нет, это еще не жизнь». Кино стало инструментом примирения с действительностью за счет фальсификации мечты. «Это всего лишь грёза, а не жизнь», — говорят

нам, на что мы отвечаем: «Нет, это еще не грёза»...

Когда субкоманданте Маркос возвращается с гор юго-востока Мексики и его спрашивают в интервью («Партизан на асфальте»), скучает ли он по чему-то из городской жизни, субкоманданте отвечает: по кино, по кинозалу, по поп-корну... Но как возможна победа над американским неолиберализмом, если воображение остается оккупированным голливудской грёзой?.. Метарусские — за *перезагрёзку!*

Хромоидеология

Все мы, обитатели Земли, находимся под влиянием определенной искажающей идеологии, и эта идеология не политическая, а научная — идеология *цвета*, или *хромоидеология*. Наши общества — это в первую очередь общества *контроля цвета*. «В первую очередь» — поскольку этот вид контроля незрим и неартикулирован (против него не выступают политические активисты, и о нем не пишут в оппозиционных изданиях) и оттого еще более могуществен.

Хромоидеология присутствует в обществе на разных уровнях, проявляет себя в разных областях жизни. Налицо все признаки идеологической обработки: это убеждение с помощью графических образов (иллюстрации ньютоновского эксперимента, на которых изображен белый луч света, проходящий через призму и расщепляющийся в определенной геометрической конфигурации на последовательность разноцветных лучей), внедрение в речевой обиход мнемонических фраз («Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан», где первые буквы слов являются первыми буквами названий цветов ньютоновского спектра), распространение не

подвергаемых сомнению утверждений — оптических догм («черный и белый — это не цвета») и т.д. Распространением хромоидеологии сегодня занимаются общие и высшие учебные заведения, оптические институты, специальные комиссии по освещению и международные комитеты по колориметрии...

Концептуальная основа хромоидеологии — ньютоновская оптика. О Ньютоне в рамках этой идеологии положено говорить, что это одна из ключевых фигур европейского Просвещения, ученый, олицетворяющий собой научную революцию, окончательно порвавшую с «тьмой прошлого». При этом о Ньютоне также необходимо умалчивать то, что противоречит его пропагандистскому образу борца со средневековым мракобесием: большая часть рукописей Ньютона посвящены алхимии, а труд, над которым он работал в течение 40 лет, до самой смерти («Исправленная хронология древних царств»), утверждает, что хронология древности ложна, искусственно удлинена, что позднее получит презрительный ярлык «альтернативной хронологии».

Почему мы называем эти школьные места оптики идеологией, оптическими догмами? Потому что 1) они не соответствуют феноменам, наблюдаемым в природе, 2) они в конечном счете имеют мировоззренческое значение, поскольку определяют то, как мы понимаем свет и тьму и их взаимоотношение, а также цветовое разнообразие мира. Рассмотрим некоторые из этих оптических догм.

На самом деле трудно сказать, из скольких цветов состоит радуга или спектр, образующийся при дисперсии. Этих цветов может быть два, три, пять, семь или больше. Ньютон изначально говорил о пяти «основных» цветах, но его метафизические представления о гармонии (или предрассудки, говоря языком самого Просвещения) заставили его растянуть это число до семи, чтобы

между миром цветов и миром звуков (нот) имелось количественное соответствие. Более того, реальное наблюдение за радугой может обнаружить в ней цвета, которых в ней по идее быть не должно, — например розовый или пурпурный; тогда машине хромоидеологии придется придумывать этим нестыковкам какие-то объяснения.

На самом деле лучи, преломляясь в призме, не выходят из середины ее грани под прямым углом, составляя разноцветную ленту, как это часто изображают на картинках. Разноцветные лучи — красные и синие — выходят из краев грани под разными углами, и между ними на выходе есть прозрачный зазор, который лишь на некотором отдалении от призмы заполняется зеленым цветом (находящимся в середине знакомого «радужного» ряда); кроме того, ширина получающихся в итоге цветных полосок — разная (красная и синяя полоски — самые широкие, желтая и зеленая — поуже). Иногда об этом говорят как об «огрублении» ради простоты объяснения, но ставка такого «огрубления» слишком высока: эта «неточность» в изображении физического феномена формирует ложное представление о «первичности» зеленого, об общем количестве и составе «основных» цветов и о самом феномене дисперсии.

На самом деле пурпурный является спектральным цветом, но принадлежит к *другому*, неньютоновскому спектру. Пурпурный цвет считается «неспектральным» на том основании, что световой луч, имеющий пурпурный цвет, якобы не монохромен, то есть его можно разложить на другие цвета, а именно на синий и красный. Но существуют эксперименты (см. работы меташведских исследователей Pehr Sällström, Arne Nicolaisen, Morten Eide и Jan Henrik Wold), которые показывают, что можно создать такой луч пурпурного цвета, который будет неразложим, монохромен...

Впервые глубокой и систематической

критике ньютоновскую оптику подверг поэт и естествоиспытатель Гёте, говоривший в связи с этим о «вековом ньютоновском обмане» (а мы сегодня можем говорить уже о «трехвековом»). Ключевая претензия Гёте к Ньютону по части его опытов с преломлением света состояла в том, что тот учитывал не все, а лишь отдельные, частные случаи экспериментальной конфигурации: 1) затемненная комната с призмой, приставленной к светлomu окну, 2) белая стена-экран, на которую падают лучи света, проходящие через призму, 3) определенное расстояние между призмой и стеной-экраном. Эти условия были подобраны Ньютоном так, чтобы результат эксперимента отвечал его первоначальной гипотезе, а именно положению об разнородности белого света. Потому что достаточно изменить хоть одно из них, и перед нами предстанет иная картина. Так, если придвинуть экран поближе к призме, спектр перестает быть сплошным — вместо зеленого посередине образуется полоска белого света, что позволило Гёте (а ранее Л. Б. Кастелю) утверждать, что зеленый является не «основным» цветом, но лишь смешением внутренних краевых цветов спектра, желтого и бирюзового. А при инверсии условий освещения — когда лучи света, преломляясь через частично *перекрытую* на входе призму, падают на *черный* экран, находящийся в *светлой* комнате, — мы получаем совершенно иную спектральную раскладку: это уже не привычная «радужная» последовательность *красный—желтый—зеленый—синий—фиолетовый* (которую Гёте называл «однобоким ньютоновым привидением»), а ряд *синий—сине-красный—пурпурный—желто-красный—желтый*. Возникающий в этом случае спектр можно назвать «темным» (на контрасте со «светлым» ньютоновским). Сама эта идея — перевернуть условия освещения, переставить свет и тьму местами — возникла

из своего рода концептуального расширения поля зрения: Гёте увидел тьму, окружающую светлый экран в описанных Ньютоном опытах с призмой, не как внешнее эксперименту обстоятельство, а как неотъемлемый фактор призматического цветообразования

В начале XXI века метанемецкий исследователь О. Мюллер показал, что опыты с призмой в инверсированных условиях освещения могли бы с не меньшим правом считаться эмпирическим фундаментом для строительства строгой физической теории цвета, чем оригинальные ньютоновские (тезис о «призматической эквивалентности»). То, что Ньютону удалось убедить читателей в доказанности тезиса о разнородности белого света, то есть о его разложимости на цветовой спектр (для Гёте «белый» не разнороден, это «чистый» цвет), было, согласно Мюллеру, скорее плодом «случайности» (*Zufall*) — «случайной победой» (*zufälliger Sieg*), удачным стечением ряда исторических обстоятельств. Методологическая ошибка Ньютона состояла в принятии за системообразующие случайных — с точки зрения природного мира, — однако привычных для людей условий освещения. Ведь могла быть иной не только экспериментальная конфигурация, но и общие физические и физиологические предпосылки: Солнце — звезда, принадлежащая к спектральному классу желтых карликов, светит преимущественно белым светом (с пиком в сине-зеленой части спектра), а фоторецепторы в сетчатке человеческого глаза, отвечающие за ночное и сумеречное зрение (палочки), почти не передают информацию о цветовом тоне. Но для Ньютона свет, имеющий белый цвет, предстает как свет-вообще («естественный»), а тьма автоматически интерпретируется как отсутствие света-вообще, а не только белого.

В конечном итоге за этими утверждениями Ньютона, ставшими впоследствии оптическим догмами, скрывалась определенная метафизика — метафизика света.

Отношения света и тьмы для Ньютона асимметричны: свет так же господствует над тьмой, как новая «просвещенная» эпоха — над «темным» прошлым средневековья. Гёте тоже руководствовался определенной метафизикой, но другой: для него свет и тьма полярны и равноправны, их отношение выражает вечную борьбу противоположностей во вселенной. Поэтому «светлый» спектр не может иметь никакого приоритета перед «темным». По какой причине было отдано предпочтение имплицитной ньютоновской метафизике? Сам этот вопрос — независимо от того, какой ответ на него будет дан, — способен пошатнуть хромоидологию, поскольку он предполагает возможность выбора между разными метафизическими картинами мира, между различными картами реальности.

Главная идеологическая задача движения Просвещения — контроль света (*фотоидеология*): утверждение превосходства «естественного света» над «сверхъестественным», божественным (*lumen supranaturale*) и создание образа наступающего «царства разума», освобожденного от тьмы незнания. Таким способом новая городская прослойка («буржуазный класс»), желавшая выйти из-под власти церковников и аристократов (сам Ньютон происходил из крестьянского сословия), пыталась доказать свое «эпистемологическое» преимущество перед представителями средневековой и ренессансной учености (*маркетинг света*). Это совпадало с задачами зарождавшихся национальных государств: именно государство во все времена было заинтересовано в максимальном освещении общественной жизни с целью ее наиболее эффективного контроля. Что нужно понимать и вполне буквально: первые системы искусственного освещения в европейских городах создавались полицейскими службами, и первые исторические исследования об уличном освещении также писались полицейскими. Свет должен господствовать над тьмой и метафизически, и физически.

Тезис Ньютона о разнородности «белого» — то есть «естественного», солнечного — света аллегорически служит подчинению всех красок мира «естественному свету» разума. С одной стороны, будучи «разнородной смесью» всех цветов, «белый» свет как бы удерживает в себе различные цвета, не дает расползтись им в стороны. Никаких других цветов внутри этой хромоидеологии возникнуть уже не может, а если те и возникнут, то будут сразу репрессированы, стигматизированы как «неспектральные», как что-то вторичное, несущественное, не способное радикально изменить палитру мира. И поскольку за пределами света цветов нет, а черный — это не цвет, то и из не-света, из тьмы ничего родиться не может. С другой стороны, «светлый» спектр выступает как бы внутренней архитектурой света, его каркасом: как свет удерживает в себе цвета, так и цвета держат на себе свет.

Такова инструментальная цель фотоидеологии — контроль цвета. Но хромоидеология выполняет другую, самостоятельную функцию, с которой фотоидеология справиться не в состоянии: это *контроль тьмы*. (*Фотохромоидеология*: свет контролирует цвет, цвет контролирует тьму.) Вопреки осуществленным фотоидеологией репрессиям тьмы, та всё-таки продолжила пробиваться на поверхность общественного тела, что просветителям — и тогдашним, и сегодняшним — представляется лишь досадной недоработкой, лишь следствием недостаточной освещенности (потому-то они так остервенело и так безрезультатно селятся залить всё еще более ярким светом, буквально ослепить нас своим драгоценным знанием). Это косвенно подтверждает два тезиса Гёте: 1) об автономности тьмы, ее равноправности со светом и 2) о происхождении цвета из игры света и тьмы (см. в «Учении о цвете»: «...все цвета обязаны своим существованием свету и не-свету... они неизменно

тяготеют к темному и суть нечто σκιερόν, так что при нанесении их каким угодно способом на светлый предмет, мы не столько освещаем, сколько затеняем его»). Любой небелый цвет темнее белого цвета, цвет как бы не целиком подчиняется абсолютному (пр)освещению — чтобы быть цветом, цвет должен сопротивляться абсолютной ясности. Это смущает фотоидеологию, сбивает ее претензию на абсолютность (белого) света. С цветом в Просвещение неминуемо просачивается темнота, которую оно не способно до конца устранить и потому может только контролировать ее распределение.

Итак, с виду непритязательное изображение призмы на обложке рок-альбома и присказка про «каждого охотника» и «фазана», легко слетающая с языка, сущностно ничем не отличаются от штампов советской коммунистической или американской либеральной пропаганды. Но они обычно не вызывают такого же отторжения, поскольку наука долгое время была избавлена от подозрений в идеологической ангажированности (как замечал Фейерабенд, наука оставалась неприкосновенной даже для такого пронизательного критика общественных устоев, как Кропоткин). Цвет — лучшая стартовая площадка для критики общественных устоев сегодня: он очевиден, он повсюду, он аффективно задевает, он выражает разнообразие, и он по-прежнему скрывает в себе тайну.

Игрофикация политики

Генералы всегда готовятся к предыдущей войне, а политические аналитики и эксперты обычно говорят только про день вчерашний (или про его границу с днем сегодняшним). Что будет после — когда всё это (метазастой) закончится и начнется что-то другое? Для

преодоления этой заскорузлости публичной речи (всегда обращенной к так или иначе понятой «современности») необходимо игрофицировать политическую жизнь. Игрофикация политики — изобретение моделей политического поведения, которые можно «проигрывать». Метароссия — это игра в будущее, которое не наступит приметным образом и про которое не скажут: «вот оно здесь» или «вот оно там»...

Метарусская топонимика

За изменениями в общественно-политическом устройстве обычно следуют изменения в топонимике: вновь пришедшие силы переименовывают существующие улицы, города, географические объекты. Этот процесс переименования занимает какое-то время и не лишен трений. Метарусские решили не дожидаться, когда что-нибудь закончится, ну или начнется, и придумали названия для всех мест заранее («подрывная ономастика»).

Никакой принудительности в этих новых названиях не было — все могли называть всё. За каждым городским и географическим объектом был закреплен произвольный числовой дескриптор, к которому любой мог прицепить строковую переменную и разместить ее на слоистых графах в общей многопользовательской карте. Ведь никакого смысла, кроме пропагандистского, в единых наименованиях — в навешивании на дома табличек с названиями улиц и площадей — нет. Проблема интериндивидуальной коммуникации и ориентации в этом переименованном пространстве была решена за счет встраиваемого программного обеспечения, позволяющего взаимопереводить пользовательские топонимы (коммутатор имен). Принцип простой: называй

что угодно как угодно — главное, чтобы были средства для координации.

Первым из допетровских городов топонимическим взрывом был затронут Петроград, город пяти революций. Вместо станции метро «Площадь Восстания» возникла «Площадь Подчинения», вместо «Электросилы» — «Электрослабость», вместо «Парка Победы» — «Парк Поражения» (всё равно эти прежние названия не работали). На месте Литейного проспекта в Петрограде появился проспект Войны. Улица Союза Печатников была переименована в улицу Цвета в честь проживавшего на ней изобретателя хроматографии М. С. Цвета. Проспект Мечникова — в проспект Драгомощенко. Дворцовый мост над Невой — в мост Луи-Фердинанда Селина («Вообразите себе на минуту... Елисейские Поля... но в четыре раза шире и все затопленные бледной водой... это Нева... Она простирается вдаль... туда, к мертвенно-бледной шири... к небу... морю... еще дальше... к своему устью в самом конце... в бесконечность, откуда навстречу нам поднимается море...»). Проспект Просвещения — в проспект Пурпурного Просвещения, проспект Обуховской обороны — в проспект Легендарного лета 2018 года, Митрофаньевский тупик — в тупик Технотеологии. Греческий проспект — в проспект Улисса, Преображенская площадь — в топос Гротендика, Графский переулок — в переулок Неплохого счастья. Наибольший раскол в общине Ингерманландского полуанклава вызвало переименование Дмитровского переулка в переулок Айн Рэнд: с одной стороны, это значило увековечить ненавистную всем анархонархам либерал-фашистку, с другой стороны, и тогда, и сейчас мало улиц, названных в честь женщин, — а Рэнд всё-таки родилась и прожила там десять лет... Победила здоровая интерсекциональность!

Номинально преобразилась и остальная часть Метароссии. Так, город Саратов был переименован в Самару, а Самара в Саратов — во избежание дальнейшей путаницы. И более того: Краснодар — в Красноярск, Красноярск — в Краснодар; Екатеринбург — в Екатеринбург, Екатеринбург — в Екатеринбург; Томск — в Омск, Омск — в Томск. Берн переименован в Кропоткин в честь трудившегося и похороненного в этом городе метарусского князя Кропоткина. Париж — в Махновск, Дзержинск — в Лимоновск. Норильск переименован в Козыревск — в честь чалившегося в Норильлаге Н. А. Козырева, разработавшего теорию причинной механики. Верхний сегмент круга, образуемого Садовым кольцом в Москве, был окрещен Петроградской стороной. В каждом крупном метароссийском городе появились улицы и площади Сергея Курёхина и Анатолия Фоменко, а также парные пересекающиеся улицы — улица Бывшей и улица Бывшего. Шаламов писал: «Сентенция. Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка „Рио-рита“. Чем это лучше „Сентенции“? Дурной вкус хозяина земли — картограф ввел на мировые карты Рио-риту. И исправить нельзя». Варлам Тихонович, мы исправили!

Стратегическое значение имело введение в обиход новых гидронимов, особенно потамонимов. Наименование рек — вопрос психополитический. Так, известно, что Волга — это имя для материального носителя бессознательного России. Но является ли оно подлинным именем этого носителя? Дело в том, что, вопреки упрощенным представлениям, реки — это не линии, это сети, или кружева. Тысячи ручьев и подземных источников питают их, в них стекаются кубометры атмосферных осадков и талого льда: каждая река вкупе с озерами — это локальный интеграл жизни воды в условиях суши. И имя реки, с точки зрения потамологии, есть всего

лишь имя ее главного притока — какой-то другой реки, которая в месте подсоединения к общему кружеву имеет наибольшую длину, наибольшую площадь сбора воды (наибольший бассейн) и наибольшую водоносность, то есть несет в себе больше всего воды в данной речной системе. Исторически же имена рекам давались из других, часто псевдослучайных соображений. Скажем, в том месте, которое считалось местом впадения Оки в Волгу, обе равны по своим бассейну и водосбору, но Ока существенно длиннее, поэтому правильнее было говорить, что это Волга впадает в Оку, а не наоборот. Вообразим, что не Волга, а Ока является «матерью городов русских» и подлинным именем материального носителя российского бессознательного (подобные альтернативные сценарии изучаются в метароссийском Комитете метарек, известном также как Комитет другой Волги). Представим, как изменяется тогда просодия в стихах и популярных песнях, служащих ретрансляторами и одновременно соудерживателями этого бессознательного; как трансформируется ландшафтная иконография реалистической живописи и сюжеты классической литературы, связанные с географией центральной России... Так кодировалась и перекодировалась Метароссия.

Квазидиалектика воображения: аскеза и разбой

Воображение — это то, где мы абсолютно свободны. На земле есть всего два человеческих способа существования, которые абсолютно свободны: это монах и разбойник. Монах не отвечает ни перед кем на земле — только перед Богом (а ответ перед Богом

может противоречить «земной» морали, как, например, в евангельской притче о неверном управителе). Разбойник не подчиняется никаким земным законам, он также ни перед кем не отвечает, кроме разве что членов своей шайки (да и тех он может предать). Каждый воображающий поэтому является либо монахом, либо разбойником: это два главных концептуальных персонажа воображения.

Аскеза воображения и разбой воображения — два наиболее чистых модуса воображения (термин «разбой» был введен Е. Кучиновым как антитеза к «аскезе»). Разбой разбивает границы вообразимого и прорывается к простору, к ничейной земле, к анархическому космосу. Аскеза сосредотачивает воображение, оптимально использует его богатство, выделяет один-единственный, «тот самый» образ. В пространстве образов нет разбоя без аскезы и аскезы без разбоя. Без разбоя воображение застаивается, без аскезы оно рассеивается. Без аскезы разбойник воображения становится грабителем воображения («плохим разбойником»), без разбоя монах воображения становится начетчиком воображения («плохим монахом»). Разбой и аскеза воображения дополняют друг друга как коммунизм и одиночество, садизм и мазохизм, воля и покой...

В предельных случаях аскеза воображения переходит в разбой воображения, и наоборот (известны истории про то, как монахи присоединялись к разбойничьим шайкам, а разбойники уходили в монастыри). Главный предмет воображения монаха — Бог. Бог является для верующего *более внутренним, чем само внутреннее* (ср. в Коране: Бог ближе к человеку, чем яремная вена). Аскеза воображения является в пределе разбоем того, что более внутреннее, чем само внутреннее, — разбоем самого Бога: в христианстве Бог буквально разбит на Троицу, подвергнут насилию тончайших дистинкций, вытащен на свет, как драгоценности из отобранного у богатеев

сундука. Главный предмет воображения разбойника — простор, ничейная земля, космос. Космос для разбойника — это *более внешнее, чем само внешнее*, то, что находится за всеми границами, что размыкается, когда всё уже разомкнуто и больше размыкать, как кажется, нечего. Разбой воображения является в пределе аскезой воображения, монашеским благоговением и замиранием перед простором, когда тот наконец достигнут, молитвой неохватному космосу образов.

Отношение между аскезой и разбоем воображения квазидиалектическое, поскольку оно не снимается в чем-то третьем; это больше похоже на динамику инь и ян. Воображение постоянно ритмически «играет», переливается между этими двумя модусами. Каждый отдельный акт воображения является скорее монашеским или скорее разбойничьим, но творческий процесс в целом состоит из переходов от одного модуса к другому. При каждом таком переходе свобода воображающего может увеличиваться или уменьшаться, потенцироваться либо депотенцироваться. Ритмика переходов между модусами образует стилистические примитивы воображения.

Стилистическим примитивом «хорошего» — то есть такого, при котором свобода воображения увеличивается, — перехода от монаха к разбойнику (М↗Р) является Иисус: начав как аскет, он заканчивает переворачиванием столов в храме и смертью на кресте меж двух разбойников. Стилистическим примитивом «плохого» — то есть такого, при котором свобода воображения уменьшается, — перехода от монаха к разбойнику (М↘Р) является Сталин: начав как студент духовной семинарии, он заканчивает как грабитель чужих жизней (насилие от отсутствия воображения). Примитив «хорошего» перехода от разбойника к монаху (Р↗М) — Пушкин (от гулящего образа жизни к кропотливым архивным исследованиям). Примитив «плохого» перехода от

разбойника к монаху (P∪M) — любой революционер, заканчивающий лояльностью и коллаборацией с властью. Чаще в индивидуальных творческих жизнях образуются цепочки таких примитивов — индивидуальные стили воображения (Толстой: P∪M∧P; Маркс: P∧M∪M).

Стиль метарусского воображения — это «хороший» переход от разбойника к монаху и «хороший» переход от монаха к разбойнику (P∧M∧P). Путь метарусского можно описать как такую последовательность — первичная экспроприация контрреволюционного воображения, затем его переработка и раздача «бедным» и наконец употребление в контрконтрреволюционных целях.

О происхождении слова «Метароссия» (игра)

По легенде, слово «Метароссия» было придумано случайно, во время патриотической игры под названием «Морфологическая опухоль», демонстрирующей неиссякаемое богатство русского языка. Правила игры просты: берется любая фраза (например, «идеалы патриотизма настолько глубоки и сильны, что никому никогда не удавалось и не удастся перекодировать Россию»), и каждый из играющих (которых может быть неограниченное количество) по очереди добавляет одну морфему (аффикс, префикс, суффикс, постфикс) к любому слову из этой фразы и затем произносит ее вслух. Тот, кто после добавления морфемы оказывается неспособен произнести всю получившуюся фразу целиком и без ошибок, проигрывает, и на этом игровой цикл заканчивается.

Пример:

0=> идеалы патриотизма настолько глубоки и

сильны, что никому никогда не удавалось и не удастся перекодировать Россию

1=> идеалы псевдопатриотизма настолько глубоки и сильны, что никому никогда не удавалось и не удастся перекодировать Россию

2=> идеалы псевдопатриотизма настолько глубоки и бессильны, что никому никогда не удавалось и не удастся перекодировать Россию

3=> идеальчики псевдопатриотизма настолько глубоки и бессильны, что никому никогда не удавалось и не удастся перекодировать Россию

4=> идеальчики псевдопатриотизма настолько глубоковаты и бессильны, что никому никогда не удавалось и не удастся перекодировать Россию

5=> идеальчики псевдопатриотизма настолько глубоковаты и бессильны, что никому никогда не удавалось и не удастся перераскодировать Россию

6=> идеальчики псевдопатриотизма настолько глубоковаты и бессильны, что никомушечки никогда не удавалось и не удастся перераскодировать Россию

7=> идеальчики псевдопатриотизма настолько глубоковаты и бессильны, что никомушечки никогда не удавалось и не удастся перераскодировать Метароссию

<здесь вы проигрываете>

Роль Метароссии в космической экономике

Что Метароссия могла бы предложить миру, чем она интересна экономически? Поскольку Метароссия наследует у России ее технорелигиозный гештальт и своеобразно развивает его, сильной стороной метарусских является их талант к Малым Поломкам, к совершенствованию искусства поломков. Поэтому в

будущей космической экономике Метароссия может играть роль экспортера Малых Поломок — обменивать Малые Поломки (то есть всякую «хуйню») на любые другие товары в галактике. В этом состоит неоспоримое конкурентное преимущество Метароссии. Долгое время русские пытались торговать Большими Починками — чудом, Богом, революцией (в русской классической литературе и советском кинематографе)... — однако западный мир не верит в Большую Починку и якобы не нуждается в ней, из-за чего русские вскоре утратили рынки сбыта. Сам же Запад активно производил и успешно сбывал Малые Починки: демократию, социальные реформы, политический активизм, технологические новации, политкорректность... Среди русских Малые Починки не пользовались большим спросом, но они были вынуждены приобретать их под давлением агрессивного западного маркетинга. Кроме того, русские, в силу своей близорукости к Малым Починкам, часто принимали их за обещание вожделенных Больших Починков и потому приобретали их с тем большей охотой вполне добровольно.

Как кажется, обмен между Россией и Западом имел скорее односторонний, невзаимный характер. В действительности, обратный обмен шел, но только на «черных рынках»: русские продавали Западу Малые Поломки в виде пиратских цифровых библиотек, троллей в социальных сетях, компьютерных вирусов и пр. Запад нуждался в этих Малых Поломках, потому что они в конечном счете укрепляли его, заставляя придумывать и распространять всё новые и новые Малые Починки. Метарусские решили изменить эту ситуацию и предложили Западу торговлю «по-белому». Так как Запад обычно бессознателен к Малым Поломкам, он встретил это предложение с недоумением: мол, Малых Поломок у них там и так хватает. Тогда Метароссии пришлось

прибегнуть к собственным методам агрессивного маркетинга — угрозе распространения Больших Поломок. Со времен «холодных войн» Западу такая тактика была уже знакома, и он прибегнул к проверенному симметричному ответу — навязыванию России своих Больших Починок (какими в XIX веке для русских были гегельянство и марксизм). Разумеется, Запад не верил в «большину» этих починок, однако метарусские, как и русские, были рады обманываться и скупали все импортные сотериологии и мессианские обещания. В итоге, был заключен пакт о нераспространении Больших Поломок и ограничении распространения Больших Починок, и западные «белые рынки» наводнили всевозможные метароссийские Малые Поломки.

Метарусская эстетика (рассеянность, растерянность, пористость)

Метарусская эстетика — это слабая эстетика, «гипоэстетика». Метарусские чувствуют *слабое*, но они чувствуют *сильно*. Слабая эстетика — эстетика не для слабых!

Гипоэстетика берёт начало в тезисах Гегеля о смерти Бога и о завершении, «снятии» искусства (см. в «Лекциях по эстетике»: «Можно, правда, питать надежду, что искусство всё больше и больше будет расти и усовершенствоваться, но его форма перестала быть самой высшей потребностью духа. Мы можем сколько угодно находить превосходными греческие статуи богов, достойными и совершенными изображения бога отца, Христа и Марии, — это ничего не изменит: мы всё же не преклоним колен»). Бог, или абсолют как

метафизическая инстанция, гарантирующая полноту и абсолютность смысла, удовольствия или откровения, — этот Бог умирает. Как следствие, ослабляется наша способность испытывать прекрасное — но не исчезает совсем. Поэтому сегодня следует говорить не о «смерти Бога» и «конце искусства», а — вслед за богословом Дж. Капуто — о «слабости Бога» (ср. в Первом послании к коринфянам: «немощное Божие сильнее человеков») и, соответственно, о слабости эстетического.

Гипоэстетическое — это то, в чем эстетическое немощно, не достигает своей полноты и абсолютности; это как бы слабые токи прекрасного, мерцание и всполохи прекрасного, своего рода оговорка некрасоты о красоте. Цифровая повседневность изобилует гипоэстетическим. Сюда относятся и эффекты от различных «багов», ошибок в коде, и незапланированные связи, образующиеся между различными цифровыми объектами в сложных средах, и результаты произвольной дефункционализации и остранения чисто технических процессов.

Слабая эстетика исторически восходит к эстетике реди-мейдов и *objet trouvés*, «найденных объектов». Но от последних гипоэстетические объекты отличает то, что они сами нас находят или сами себя производят (как, например, записи автомобильных видеорегистраторов или глитч в видеоиграх) и они не нуждаются для своего существования в «топосах» (символических пространствах, подобных музею). Среди предшественников гипоэстетики можно также назвать понятие кэмп: это двусмысленная, ослабленная красота, которую мы обнаруживаем в любительских музыкальных клипах на *YouTube* или в *Instagram*-хрониках чьей-нибудь далекой бестолковой жизни.

Христианский Бог не столько умер, сколько

бесконечно ослаб. Но христианский Бог «един в трех лицах» — и каждое из этих «лиц Троицы» ослабло по-разному: Отец рассеялся (подобно тому, как сам Бог-Отец «рассеял» по земле людей, строителей Вавилонской башни, желая их ослабить), Сын растерялся (как растерялся бы сам Спаситель, приди он вновь на Землю, — «да ну вас всех к черту, давайте, до свидания...»), Дух сделался пористым (как пориста, по Гегелю, любая вещь, состоящая из множества «материй»). Такова «слабая триадология», и таковы, соответственно, три основные режима слабой чувственности — *рассеянность, растерянность, пористость*.

Слабый Бог-Отец рассеян в двух смыслах — физическом и психологическом. С одной стороны, слабый Отец рассредоточился, расплылся на миллионы объектов и ритуалов, несущих остаточный микрозаряд священного. С другой стороны, Бог-Отец страдает синдромом дефицита внимания, это рассеянный абсолют, который не может собраться, сосредоточиться и произвести эстетическое откровение. Это качество абсолюта создает предпосылки для его гиперактивности — что, в частности, проявляется как неустанный интернет-серфинг, не прекращающий снабжать нашу чувственность слабыми токами прекрасного. И эта *рассеянность* эстетического делает его присутствие в то же время абсолютно тотальным: прекрасное сегодня хоть и ослаблено, но в буквальном смысле рассеяно повсюду, заполняет собой все поры мира.

Эстетический режим *растерянности* — специфически «человеческий»: его можно соотнести только со слабым существованием Бога-Сына. Предшественниками эстетики растерянности являются, во-первых, эстетика абсурда (в дадаизме и в экзистенциализме), во-вторых, эстетика странного,

которую мы обнаруживаем, например, у Э. По и Лавкрафта. Сегодня эстетика абсурда и эстетика странного синтезируются в эстетике растерянности. От них она отличается иной аффективной и жестовой природой: это уже не радость или тягостность бессмысленности (как в дадаизме и экзистенциализме) и не жуткость странного (как в *weird fiction*), а скорее эмоция недоумения, жест разведения руками, когда мы не способны или сознательно отказываемся дать чему-то объяснение. Если эстетика абсурда была непосредственной и сознающей себя реакцией на «смерть Бога» (как верховного гаранта смысла), то эстетика странного была осмыслена теологически только в позднейших исследованиях повседневности (например, у А. Лефевра).

В цифровой повседневности растерянную чувственность воплощают, например, картинки с тегом *unexplainable* или посты и твиты с сопроводительными комментариями в виде аббревиатуры *WTF* или фразы «что происходит?» и тому подобными. Во всех этих случаях авторы, как кажется, вполне способны развернуть свою эмоцию, свой жест (что впоследствии нередко и происходит на этапе обсуждения поста или твита), но притормаживаются в этом чувстве или жесте, оставляя самих себя и читателя/слушателя/зрителя в подвешенном состоянии. Согласно поэтически точному определению, данному в советском «Энциклопедическом словаре медицинских терминов», растерянность есть «мучительное непонимание больным ситуации и своего состояния, которые представляются ему необычными, получившими какой-то новый, неясный смысл». Поэтому можно сказать, что режим растерянности — это сознательное или несознательное удерживание в подвешенном (и, возможно, дискомфортном) состоянии с целью лучше прислушаться к «новому, неясному смыслу».

Режим эстетического, вызванный к жизни ослаблением Бога-Духа, — *пористость*. Термином «пористость» Гегель в «Науке логики» описывает свойства материи (под материей мы здесь должны понимать как физическую материю, так и цифровую: материя в философском значении — это просто то, из чего образованы все вещи, в том числе цифровые). Вещь, по Гегелю, состоит из множества материй, вещь — всегда «эта» и одновременно ряд неких «также»: эта вещь тепла, но также пахуча, кисла, электризована и т.д. Все эти различные материи, пишет Гегель, существуют не в разных местах, а в одном месте (в самой «этой» вещи), но это место — пористое. Каждая материя существует как бы в промежутках или в порах другой материи, причем между этими порами существуют другие поры, из которых вещь нам себя являет: материя есть бесконечная пористость.

Путешествие Духа в истории, в «человеческом времени» завершилось, полагал Гегель, — но сразу вслед за этим Его путешествие продолжилось в географии, в мире «человеческих вещей» (что было неявно зафиксировано младогегельянами). Это «одухотворение» материи («географизация Духа»), сопровождающееся видимым «ослаблением» Духа, и переживается нами сегодня как пористость. Бесконечная пористость материи обнаруживает себя, например, в феноменальной бесконечности вики-серфинга, когда каждая статья уводит нас по гиперссылкам, как по тоннелям или порам, всё дальше и дальше. И эти гиперссылки — они не где-то в другом месте, они уже здесь, в этой конкретной цифровой вещи (ноутбуке, браузере, вкладке браузера...). Мы словно бесконечно проваливаемся в поры цифровой материи, которая открывает нам свои всё новые и новые «также».

В этом смысле режим пористости, как и режим рассеянности, является актуальным способом не только переживания, но и существования вещей. Если Гегелю еще нужно было специально приближать к себе вещь, чтобы рассмотреть ее феноменальную структуру, то сегодня вещи, будучи сверхнасыщенными информацией, сами приблизились к нам, масштабировались, и их поры открываются нам уже не в специальном акте созерцания, а изнутри повседневного опыта. Пористость и рассеянность — это то, что мы увидели, когда зумировали, масштабировали ризоматическую структуру интернета, предвосхищенную в «Тысяче плато»: ризома, думается, была еще слишком грубой, слишком плоской, слишком издалека наблюдаемой моделью той реальности, в которой мы находимся сегодня. Действительно, модель графов, подразумеваемая образом корневища, не передает той сложности — аффективной, экзистенциальной, метафизической — навигирования в информационном пространстве, с которой мы сталкиваемся сегодня. Мы вовсе не скользим по волнам, подобно виндсерферам, как это воображал Маклюэн, от одного острова к другому в безграничном архипелаге, не перемещаемся от одного узла сети к другому, как это слишком схематично изображают карты интернет-трафика, а скорее просачиваемся по капиллярам пористых сред — социальных сетей, блогов, мессенджеров...

Любое политическое действие в современном, цифровом мире должно так или иначе сообразовываться с особенностями современной чувственности — рассеянностью, растерянностью, пористостью. Метарусские отдают себе в отчет в этом ослаблении чувственного. Они не ностальгируют об утраченной собранности, самопонятности, монолитности, но пытаются обратить слабость в силу — создают

контроллеры воздуха на основе своей растерянности, обустроиваются внутри существующих пор и протачивают новые, рассеиваются так, чтобы в нужный момент оптимально пересобратся.

Метарусское бессмертие

См. третью редакцию Конституции.

О флаге Метароссии

Национальные флаги исторически создавались посредством сшивания лоскутов цветной материи. Поэтому границы между цветовыми полями на национальных флагах всегда отчетливы (дискретны). На момент публикации этого текста не существует ни одного национального флага, в котором имелся бы непрерывный (градиентный) переход между цветовыми полями.

1. Флагом Метароссии является любой флаг с (хотя бы одним) непрерывным (градиентным) переходом между цветовыми полями (любого размера). (Полностью одноцветные флаги могут считаться метароссийскими при соответствующей договоренности.)

2. Любой флаг, обозначающий государственную или идеологическую принадлежность, может быть превращен во флаг Метароссии посредством размывания границ (создания непрерывного перехода) между цветовыми полями.

3. Разнообразие существующих и потенциальных флагов Метароссии призвано означать разнообразие ее национально-культурных и идеологических установок.

Метароссия — это не страна (структурализм «третьей волны»)

Метароссия — это не страна, а структура. Русское слово «страна» и латинское слово «структура» восходят к одному праиндоевропейскому **streu-*, означающему «простирается». Этимологически «простирание», или «простор», лежит в основе «пространств», «стран», «строительств», «структур», «конструкций», «стратегий», «инструментов». Простор есть этимон и онтологический базис всех структур. Но Метароссия — это особая структура, структура «третьего типа». Такие структуры изучает структурализм «третьей волны».

Структурализм «первой волны» (Якобсон, Леви-Стросс и др.) имел дело с бинарными или тернарными оппозициями и подвешивал вопрос об отношении культура—природа. Его формальными языками были алгебра и теория групп, использовавшиеся, например, для описания отношений родства. Элементы структуры, как подчеркивал Леви-Стросс, не имеют внутреннего значения, их смысл чисто «позиционный», то есть зависит от общей конфигурации структуры. Условный переход к структурализму «второй волны» (постструктурализму, или постмодернизму) был связан с вопросом о «бессмыслии» смысла структур: в результате структуры «подплавились», стали более парадоксальными и разноязыкими (как в использовании Лаканом топологических объектов для описания механизмов психики). Структурализм «второй волны» был более всеяден в выборе исследуемого материала, однако вместе с тем фактически свел природное к культурному (в чем его нередко обвиняли).

То, что мы называем структурализмом «третьей волны» (за неимением лучшего термина), отличается от

этих двух методов анализа тем, что он имеет дело уже не с бинарным или тернарными оппозициями, а с n -арными (как в геометрии n -оппозиций). Кроме того, он не сводит природное к культурному и/или социальному. Внимание «третьего» структурализма обращено на динамические отношения между вещами, на «переводы» и на «карты» отношений: «карты перевода» — другое имя для структур «третьего типа». Наиболее адекватным формальным языком для представления этих «карт перевода» является уже не алгебра, а теория категорий. Материал структурализма «третьей волны» — культурно-природные гибриды, такие как цвет или звук, а также «внутренние этнографии» просвещенного западного общества, например, утопии и антиутопии, «теории заговора», различные «лженауки»...

Метароссия является преимущественным предметом изучения структурализма «третьей волны». Как показал П. Серию («Структура и целостность»), мысль Пражского лингвистического кружка (Трубецкой, Якобсон), ставшая трамплином для «первого» структурализма, была генетически неотделима от мысли о конкретном земном пространстве — пространстве Евразии. То есть структурализм «первой волны» был укоренен в географическом воображении. Так же и в структурализме «третьей волны» мысль о структуре неотделима от мысли о Метароссии. Если распространение семьи индоевропейских языков началось с Понтийско-Каспийской степи (согласно гипотезе М. Гимбутас), то конкретный образ приволжского простора является фундаментом всего структурного мышления. Но пришла пора вернуть структуры на родину — в Самарскую область! В Париже структурам тесно, Париж — вор и могильщик структур!

Можно сказать, что не только Метароссия — структура «третьего типа», но и структура «третьего типа»

— это и есть сама Метароссия. Структурная диалектика в целом повторяет геолингвистическую диалектику Метароссии: это череда побед и поражений в попытке взять простор под контроль, завладеть им, укротить его. Сама структура на Западе сделалась именем контроля простора. Чтобы снова делать структуру просторной, нужно поломать ее, а нигде ничто так хорошо не ломается, как в Метароссии. Структуры «третьего типа» — это поломанные структуры, не структуры даже, а поломки структур, и даже не сами поломки, а структуры поломок, больших и малых... В «первом» и «втором» структурализмах понаизобретали и понаоткрывали много интересных и, главное, хорошо работающих структур, но все они были чересчур «качественные», чересчур европейские, что ли... В Метароссии свои структуры, *загогулистые*: это как если бы поздний Лакан читал не Джойса, а историка и лжематематика Фоменко, а Делёз читал не Арто, а... всё, что про него понаписали в академии после его смерти, и сошел от этого с ума.

Негосударственное воображение, негосударственная память

То, что желающие машины способны, по Делёзу и Гваттари, представлять как революционные в своей сущности, делается возможным благодаря критике представления о желании как о нехватке: желание не желает то, чего (еще) нет, оно, напротив, производит то, чего еще не было. В случае с воображающими машинами их революционность становится понятной тогда, когда мы отказываемся думать о воображении как о некоем излишке, надстроенном над тем, что уже есть или было, то есть над памятью. Воображение с античных времен

мыслится как способность, подчиненная способности памяти: образы воображенные являются якобы какими-то избыточными рекомбинациями образов запомненных. На это мы отвечаем, что памяти как особой психической способности не существует, памяти нет (в том же смысле, в котором гештальтпсихолог Э. Рубин говорил, что не существует внимания): это всего-навсего сложный культурный, антропотехнический, технотеологический конструкт. В действительности, не память предшествует воображению, а воображение — памяти.

Когда те же Делёз и Гваттари утверждают (вопреки некоторым антропологам), что государство в той или иной форме существовало всегда, они имеют в виду, что у нас есть *память* о государстве — археологическая, этнографическая, историческая... Однако, возможно, память как конструкт и была изобретена, чтобы мы *помнили* о государстве, то есть сохраняли его и воспроизводили (см. в «Тысяче плато»: «...государство не определяется существованием вождей, оно определяется увековечением или сохранением органов власти. Забота Государства в том, чтобы сохранять»; см. также работы Я. Ассмана о «культурной памяти»). Поэтому и истории культур фактически начинаются с историями государств (нет «великих поэтов» без «великих держав»). Но государство не единственный *великий удерживатель*, не единственный *памятник*: импульс к удерживанию был придан ему религиозными практиками, властью жрецов (из которой оно, вероятно, и произошло). Разница между государством и религиями как удерживателями в том, что первое притязает на удерживание территорий и в рамках определенных территорий, а вторые в пределе стремятся к космическому и трансисторическому масштабу передачи и удерживания собственного послания.

Государство — это такой же продукт воображения, как и всё остальное, произведенное человеком, оно

началось с актов воображения и постоянно воображается и перевоображается. Только, в отличие от многих других продуктов воображения, оно стремится поместить себя в памятные, а не чисто воображаемые пространства, закрепиться, удержаться в тех или иных образах, напоминающих нам о нем и создающих иллюзию его «реальности». Если мы взглянем на государство под таким углом, мы, напротив, увидим его хрупкость, эфемерность, грёзность. Почему вокруг нас вообще имеются определенные образы — не только ли для того, чтобы навечно сохраняться во имя государства? Чем эти образы лучше других образов, что они заслужили увековечения? Можем ли мы производить и сохранять образы без того, чтобы они становились частью государственной истории? Вот с этого острающего взгляда и начинается отмена государства.

Отменить государство, то есть вообразить такой порядок или беспорядок, при котором в нем не будет необходимости, означает не столько *забыть* государство — в том числе стереть его материальные следы, — сколько удивиться тому, почему мы вообще *помним* те или иные образы. Забыть государство, может, и было бы хорошей идеей, но, во-первых, сами государства прибегают к механизмам забвения, чтобы стереть память о побежденных (*damnatio memoriae*), во-вторых, в этом случае мы рискуем вернуться к полубеспамятному состоянию первобытных, условно догосударственных обществ. Первобытные общества, как известно, живут не в истории, а в мифе: все события прошлого спрессовываются там в «мифические» рассказы, у которых нет возраста и которые почти так же эфемерны, как сновидения, поскольку существуют только в устной, неудержанной форме. Государство вместе с государственными религиями (месопотамскими, египетскими, греческими...) изобрело способ выйти из этого полубеспамятного состояния, но

платой за это стало подавление ими прочих, негосударственных форм воображения, то есть не связанных с их удерживанием. Эта эволюционная миссия государств и религий давно выполнена, они стали паразитами памяти, и теперь нам нужно создать новую, негосударственную память, которая вмещала бы в себя любые образы.

Итак, первая задача состоит в том, чтобы увидеть *произвольность* образов, служащих удерживанию государства. Без этих образов процесс воображения и перевоображения государства прекратится. Но прекратятся ли без них любовь, дружба, творчество?.. Очевидно, что нет — именно поэтому эти образы *произвольны*: они стоят в одном ряду с прочими, но притязают при этом на исключительность, привилегированность. И нет даже необходимости в том, чтобы физически уничтожить эти образы (подобно тому как сами государства уничтожают материальные следы своих врагов), — достаточно посмотреть на них как на некие геологические отложения воображения, как лишь на один из возможных типов воображения, переинтерпретировать их как следы некоей жизни воображения, подошедшей к своему завершению.

Вторая задача состоит в том, чтобы переизобрести порядок (или беспорядок) памяти, при котором привилегией на удерживание образов обладали бы уже не (только) государство и религии. Здесь нам резонно возразят, что изобретение такого порядка памяти может привести к созданию новой религии — например, такой, которая видит свою миссию в «спасении» всех вещей, всех образов (а не только государственных). Вероятно, это была бы не самая худшая религия, ответим мы, но, конечно, при условии, что в ней не будет *запрета на забвение*.

В вопросе о памяти мы возвращаемся к вопросу об отношении государства и капитализма. В отличие

от марксистов и так называемых «либертарианцев» (которые украли у анархистов термин «либертарный» и чуть переименовали его для обозначения безгосударственного устройства с абсолютной свободой рынка), анархисты всегда отдавали себе отчет в том, что государство и капитал открыто или тайно поддерживают друг друга и друг без друга обойтись не могут. Мы полагаем, что сегодня этот симбиоз государства и капитализма выражается в первую очередь в их целенаправленной работе с памятью. Если государство блокирует любое негосударственное воображение, а капитал, как кажется, предоставляет воображению полную свободу (с тем, чтобы затем попытаться переприсвоить его в своих целях), то в том, что касается памяти, они оба движутся в одном направлении, хотя и двумя разными путями. Государство стремится удерживать образы и помогает в этом капиталу (в той мере, в которой он с ним связан), а капитал беспрестанно наращивает память, делая нас зависимыми от нее и тем самым также блокируя наше воображение.

Рожденные в Метароссии (метарусский романтизм)

Метарусофобы скажут: у вас тут всё метарусское, даже ад, — а как же метаамериканцы, метафранцузы, метаевреи и др.? Будет ли для них место в Метароссии? Нет ли во всем этом национализма или какого-нибудь метанационализма?

Ответ метарусофобам: Метароссия — это приглашение всех рас и этносов к метаизации. Всем пора метаизироваться: немцам — стать метанемцами, татарам — метататарами и т.д. При чем тут тогда Метароссия? Ну,

нужно же было как-то назвать начало этого процесса... Метарусские просто были первыми.

Метарусские не националисты — они скорее романтики. Представители европейского движения романтизма, как известно, нередко разделяли националистические взгляды. Слово «нация», напомним, происходит от латинского *natus*, «рожденный». Для метарусских важно удержать в романтическом национализме эту связь «нации» с «родиной». Расы и этносы смешаются, рассеются по галактике, преобразятся, но у каждого индивида всегда будет какое-то место, где он родился (даже если это астероид или газовая планета-гигант), — его/ее Родина. Метарусские романтики прибавляют к этому, что Родина — это всегда Неизвестная Родина. Быть рожденным в Метароссии — это никогда не факт, а всегда открытие и немножко изобретение.

Москва и контроль простора

Внутриполитическая функция Москвы — контроль простора. Этот контроль Москва в пределе понимает как защиту граждан от их же свободы. Простора как свободы в России всегда было слишком много (ср. у Пушкина в «Путешествии из Москвы в Петербург»: «Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать»). Это свобода, которую нельзя вынести, *невыносимая свобода* (ср. у Чехова в письмах: «В 3<ападной> Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно... Простора так много, что маленькому человеку нет сил ориентироваться...»). Как только в некий исторический момент достигался порог выносимости

свободы, возникало ее искривление. «Искривленная» — так с сарматского переводится слово «Москва», согласно Татищеву. Москва есть искривление простора, гигантский аттрактор, искривляющий пространство— время. Но при этом и сама она — как город — также есть простор. Искривленный простор контролирует простор — в этом главное метафизическое противоречие Москвы.

Западные демократии также защищают граждан от их свободы, однако по-фарисейски: они фактически называют свободой защиту от нее. Авантюра с вирусом хорошо показала, что для европейцев это одно и то же — свобода и защита от нее: они легко обменяли свободу на заботу о собственном здоровье. Тогда как, скажем, в Самарской области никто не перепутает простор с контролем простора... Если власть в России зиждилась преимущественно на насилии и коррупции, то власть на Западе — преимущественно на лицемерии и насаживаемом страхе простора (воплощенном сегодня в том числе в страхе России). Римский ритор Квинтилиан говорил о людях, что «часто их нужно обманывать, чтобы они не заблуждались», — в этом смысле европейцы постоянно соучаствуют в обмане и самообмане. Так называемые «политические свободы» — которые в России де-факто отсутствуют — были придуманы европейцами, чтобы они, в конечном счете, могли лучше друг друга контролировать. «Политическая свобода» — это условная свобода, в отличие от безусловной, анархической свободы простора.

Внешнеполитическая функция Москвы заключается в поддержании каргогосударственного режима с целью защиты Запада от восточноевропейского простора, от русской анархии. Если кто-то и нуждается в Москве, так это прежде всего Запад. В Москве сидит кучка макрорусских разбойников, которых можно было бы даже назвать анархистами, ибо над ними нет закона,

кроме них самих. Запад побаивается их, но терпит. Он не понимает, что они еще недостаточно разбойники, недостаточно анархисты. Или, наоборот, как раз понимает это очень хорошо, потому что настоящей русской анархией был бы не захват чужих территорий и не вмешательство в чужие выборы, а, например, отмена копирайта, отмена частной собственности, всеобщий доступ к «таблеткам бессмертия», на которых сидят высокопоставленные чинуши и престарелые богачи по всему миру, и т.п., — что стало бы для Запада и всего государственно-капиталистического мира гораздо более серьезной проблемой.

Нацисты были парадоксально правы, когда называли Россию *Raum ohne Volk*, «пространством без народа». Потому что народ здесь еще должен быть разыскачен и переизобретен. Метароссия — это первое осознавшее себя пространство без народа.

Отмена диктатуры лайка

Метарусские исследователи долго ломали голову над тем, как отменить диктатуру лайка. Побудительным мотивом к этой отмене был запрос на воскрешение всего и всех: мол, сколько прекрасных идей и людей были забыты только потому, что их в нужный момент кто-то не лайкнул!..

Для этого нужно сперва рассмотреть минимальное поведение пользовательниц — такое как просмотры или лайки — не экономически, а феноменологически. Лайки — это не новые деньги, лайк всегда конкретен, это отнюдь не всеобщий абстрактный эквивалент (хотя он и может быть, как и всё, предметом обмена). Достаточно немного позаниматься феноменологией лайка, что-

бы увидеть: лайк может быть интерпретирован либо как знак любви, либо как знак влияния, либо как то и другое одновременно. В этом фундаментальная двусмысленность лайка, и эту его двусмысленность и эксплуатирует денежная экономика.

Например, одна пользовательница интерпретирует лайк как знак любви, а другая пользовательница — как знак влияния. Или наоборот: одна пользовательница интерпретирует лайк как знак влияния, а другая пользовательница — как знак любви. Если интерпретации пользовательниц совпадают, это приводит к возрастанию любви или влияния соответственно, а если их интерпретации не совпадают, тогда становится возможным перевести лайк в деньги.

Можно сказать, что при капитализме лайк работает как переводчик любви во влияние и влияния в любовь. Проклятием примитивных оценочных интерфейсов, завязанных на голом числе, является то, что рационально разделить в них любовь и влияние практически невозможно. И все-таки они как-то постоянно разделяются — и в образовавшейся расселине между ними и бросает якорь денежная экономика.

Если пользовательница ставит лайк и потому, что любит, и потому, что желает увеличить чье-то влияние, тогда она уже мыслит экономически. А если лайки скрыты ото всех пользовательниц, кроме производительницы контента, тогда последняя обречена на вечные тайные мучения, оттого что не может перевести эту любовь во влияние: капитал не любит границ, он хочет свободно конвертироваться в любые формы. В случае сокрытия лайков возникает риск нарциссического коллапса; выходом тут может быть выворачивание интерфейса приватной стороной наружу — публикация в каком-либо виде данных о количестве лайкнувших (хотя есть, конечно, святые бессребреницы, способные купаться в лаве обще-

ственной любви и не сторгать в ней).

На более глубоком уровне диктатура лайка — это не просто диктатура общества, экономики или арифметики, это диктатура того, что Платон в «Филебе» называл «первым родом сущего», — категорий «больше»/«меньше», выражающих «природу беспредельного». Метарусские исследователи осознали, что необходимы альтернативные, нечисловые интерфейсы оценки. Моделью такой квазиэгалитарной оценки (то есть безразличной — фактически, но не формально — к отношению «больше»/«меньше») стало цветовое пространство.

Популярный в Метароссии колориметрический интерфейс оценки выглядит так: 1) дана сфера Манселла: ось сферы выражает яркость (книзу темнее, кверху светлее), «экватор» — цветовой тон (=цветовой круг), перпендикуляры к оси — насыщенность (к краям интенсивность больше, к оси меньше); 2) каждая пользовательница может один раз сдвинуть указатель, находящийся внутри этой сферы, на какое-то расстояние в выбранном направлении; 3) изначально указатель установлен в центре сферы, каждая пользовательница сдвигает указатель с его последней установленной позиции; 4) расстояние сдвига (=шаг) указателя выбирается пользовательницей из заданного диапазона: верхняя граница шага задается рандомно и при этом не больше r/n (где r — радиус сферы, $n=2,3\dots$), а его нижняя граница достаточно велика для того, чтобы разница с предыдущей позицией была ощутима; 5) количество сделанных шагов не отображается, но пользовательницы могут видеть, наряду с последним установленным цветом, динамику изменения цветового тона в анимационном ролике (имеющем фиксированную длину). Оцененный таким образом контент при необходимости может быть описан цветовыми эпитетами и пластически-

динамическими коррелятами цветов: «яркий», «ненасыщенный», «холодный», «грязный», «румяный», «опалесцентный», «покоящийся», «переходный», «вибрирующий», «багровеющий», «центробежный», «праздничный» и т.п.

Метарусская география

Государство мыслит оболочку Земли преимущественно в терминах экстенсивности, *протяженности*, — через расстояния, границы, ареалы. Изучением земной поверхности как протяженной в пространстве занимается физическая география — наука, исторически складывавшаяся как стихийный ответ на запрос национальных государств. Предельные экстенсивные отношения, которыми она оперирует, это *далекость/близость* (см. «первый закон географии» У. Гоблера: «всё соотносится со всем, но близкие вещи соотносятся больше, чем далекие»).

Метарусская, безгосударственная география — это не экстенсивная, а *интенсивная* география: она мыслит в терминах *напряженности*, интенсивности. Интенсивная география есть обобщение так называемой гуманитарной, нефизической географии с ее понятиями «единства обстановки» (Г. Дебор), «гетеротопии» (М. Фуко), «центральных мест» (М. Элиаде), «ретикуляции» (Ж. Симондон), «не-места» (М. Оже) и пр. Предмет исследования интенсивной географии — «напряженность», интенсивность мест на земной поверхности и сами эти интенсивные места.

Интенсивное место — это такое место, на котором заданы две базовые операции — *собирания* и *рассеивания*. Достоинство русских слов «собирание» и «рассеивание» в том, что они могут иметь как физическое, так и психологическое значение. Всё во Вселенной (не только

на Земле) может быть описано в терминах собирания и рассеивания, всё как-то собирается и рассеивается — галактики, звездные скопления, облака газа и пыли, потоки жидкостей, элементарные частицы... Однако не всё во Вселенной (и на Земле) имеет какую-то «напряженность» для человека. Чтобы какое-то место приобрело «напряженность» или вообще обособилось как место от других мест, нужно еще обратить на него *внимание*, то есть отвлечься от других мест (рассеяться) и сконцентрироваться (собраться) на этом месте.

Базовым текстом, демонстрирующим первичность операций рассеяния и собирания, является предание о Вавилонской башне, изложенное в Книге Бытия:

Двинувшись с востока, они нашли в земле Сennaар равнину и поселились там.

И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.

И сказали они: построим себе город и башню, высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.

И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;

сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.

И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню].

Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.

И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню].

Речь в этой истории идет о 1) собирании людей с целью собирания некоей вещи (башни), а также из опасения, что они могут спонтанно рассеяться; 2) об их насильственном рассеивании по воле сверхъестественного существа. Причем это не просто сверхъестественное существо, а исторически и антропологически первый единый Бог — Бог, который единственный собран и который потому структурно не выносит конкуренции в виде собирания людей в единую языковую семью и/или собирания ими единой вещи (такой, как башня) без Его ведома. В центре этой истории не экстенсивная разметка — которая составляет скорее предысторию («двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину...»), — а две эти операции: собирание (на равнине) и рассеивание (по Земле). Мышление в этих терминах в принципе свойственно догосударственным, кочевым образованиям — к каким относятся и группы, описываемые в Библии. Неслучайно понятия собирания и рассеяния имеют особое значение не только для иудейской культуры (слова греческого происхождения «синагога» и «диаспора» означают «собрание» и «рассеяние» соответственно), но и для арабо-мусульманской — также изначально кочевой.

Метароссия расположена на Земле, но иначе, чем национальные государства. Она не имеет очерченных границ и ареалов. Скорее, она представляет собой совокупность «напряженных» мест и само напряжение между разными местами. Она устанавливает себя поверх уже существующих земных протяженностей. Если раньше, в доцифровую эпоху такое понимание земного пространства сочли бы «ангельским» или «утопическим» (безместным), то сегодня быстрые коммуникации дают возможность создавать интенсивности на поверхности Земли без прямой связи с протяжением.

Государства также могут и стремятся создавать

свои интенсивные места, которые обычно совпадают с экстенсивными центрами. Для Метароссии оппозиция центра и периферии не так существенна: в Метароссии нет столиц, однако есть иерархии интенсивных мест. Эти иерархии всегда подвижные и необщие: для влюбленного/влюбленной «столица» — это объект его/ее любви, для любителя природы это закат, для путешественника — дорога, для пользователя запрещенных государством вещей и веществ — закладка, для обывателя — его дом. Автономия мест как таковая в Метароссии тоже не очень существенна: понятие «временных автономных зон» (Х. Бей) предполагает наличие географических центров контроля, хотя в действительности эти центры могут и не иметь для индивида или коллектива никакой интенсивности. Автономизации мест метарусский предпочитает сознательную интенсификацию одних мест и деинтенсификацию других: автономия приходит вслед за напряженностью как ее необязательный эффект.

Физика эволюции Метароссии

Эволюция Метароссии может быть описана диалектически — как процесс кумуляции и снятия общественно-политических и экономических противоречий. Однако эта голая диалектическая схема значительно уступает по своему богатству физическим (аэрогидродинамическим, термодинамическим, вулканологическим...) моделям бытия у философов-досократиков. Пожалуй, лучше всего эволюция Метароссии описывается гидравлически — как процесс непрерывного просачивания, инфильтрации жидкости (анархия) в высокопористые, пемзоподобные породы (разлагающееся капиталистическое государство). В

результате нарастающего увеличения скорости флюида (экспоненциальная пролиферация информационных средств, шизофреническое сопротивление низов) и снижения градиента напора (государственная коррупция, продолжающаяся капиталистическая детерриториализация) объем жидкости в какой-то момент сравнивается или превышает объем породы — образуется дисперсная система, коллоидный раствор. На первом этапе своего развития Метароссия представляет собой пульпу (равномерная смесь твердых частиц и жидкости), на втором — пасту (густая кашеобразная масса): системы, в которых дисперсионная среда твердая, а дисперсная фаза жидкая (старый Земной общественно-политический строй выступает основой для нового). Третьим этапом становления Метароссии является система из жидкой среды и жидкой фазы (гомогенизация общественно-политических миров), в которой рассеяны остатки от предыдущего этапа, — эмульсия и паста: это та самая «земля, где течет молоко и мед». В дальнейшем дисперсная система всё больше усложняется — образуются новые агрегатные состояния, добавляются новые фазы, сосуществующие с прежними. Метароссия вспенивается, выпаривается, выгорает — становится взбитым кремом, дымом, пылью, туманом, газовым облаком. Разумеется, этот процесс невозможен без постепенного повышения температуры и давления — изобретения новых источников энергии, накапливания внутренних противоречий, принятия вызовов от внешнего мира (Земли и космоса). Звезды — массивные скопления горячего газа и плазмы — являются, возможно, финальными, наиболее устойчивыми этапами подобной, происходившей миллиарды лет назад общественно-политической эволюции.

— Ну вот, как и обещал, пишу вам.

— Вам удалось что-то по-настоящему изменить?

— Пока, к сожалению, нет. Но я за это время немного ознакомился с вашей Метароссией и хочу покритиковать ее более аргументированно.

— Ну давайте. Хотя критика переоценена.

— Метароссия с ее структурами, картами знаний, контроллерами и прочим — это новый Левиафан! Только еще более хитрый, вездесущий и неотменимый... Вы просто более-менее точно детектировали, где государство сломалось, и сделали за него его работу — осуществили, говоря на вашем вычурном языке, Малую Починку Вирофана...

— Так-так...

— Ваша картография — фашистская, нет, хуже, вся картография — фашистская... Вы хотели перепристроить богатство правого воображения и, увлекшись, не заметили, как сами стали правыми. А все эти разговоры про воображение — уловка, обман, эпистемологический «тroyанский конь»...

— Знаете, нам по большому счету наплевать на правое, левое, государство, капитал, даже на анархию... Всё это только слова. Нам достаточно того, что в условиях вечного метазастоя мы жили на просторе и делали то, что интересно. А про воображение вы просто ничего не поняли.

— Это почему?

— Потому что в ваших аргументах нет никакого воображения. Вы тащите в наш чатик ветошь своих разочарований, бессильное критиканство, нетрудное

сопротивление непонятному. Вы всё ещё смотрите на Метароссию из метазастоя.

— В таком случае это ваша вина — что толком не научили, как нужно воображать.

— А мы не учим, мы подаем пример. В любом случае уже всё равно — в Метароссию вы не попали... Можете возвращаться к своим реальным делам.

— Да не очень-то и нужна была нам ваша Метарос-сия...

— Спасибо, что проявили интерес, всего хорошего.

— Знаете... Постойте. Я вот сейчас подумал о пур-пурном...

— Да?..

— В одном вы всё же были правы — мне очень идет этот оттенок. Теплый, как вы верно заметили, но еще не розовый.

— Византийский.

— Византийский?

— Да. Цвет порфиры. О порфирородный, добро по-жаловать в Метароссию!

Средства, вырученные от реализации Конституции, будут направлены в Федерализованную резервную систему Метароссии.

В деле распространения Конституции метарусские возлагают большие надежды на возмущенных государственников, которые рано или поздно привлекут к ней внимание широкой общественности и тем самым снизят затраты метарусских на саморекламу и маркетинг. Федерация вольных метарусских общин заранее выражает благодарность своим врагам за их парадоксальную диалектическую помощь. Так или сяк победим!

Конституция Метарóссии

Издательство асебия
pr@asebeia.su

Сайт издательства
asebeia.su

асебня